

ЭГИНАЛЬД ШЛАТТЕР

# КРАСНЫЕ ПЕРЧАТКИ



# Эгинальд Шлаттнер

## Красные перчатки

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=63624021](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63624021)

*Красные перчатки:*  
ISBN 978-5-94161-819-4

### Аннотация

Перед Вами роман «Красные перчатки» – первая часть трилогии, написанной известным румынским писателем, сценаристом и священником Эгинальдом Шлаттнером. Большая литература и документ страшной эпохи, завеса над которой впервые приоткрывается российскому читателю в таком масштабе. Все три книги переведены на многие языки мира. Но автор захотел, чтобы в России первыми вышли именно «Красные перчатки».

Действие романа Эгинальда Шлаттнера «Красные перчатки» происходит в конце пятидесятых годов прошлого века в Трансильвании – области Румынии, где причудливым образом сочетаются румынская, венгерская, еврейская, немецкая культуры. К числу «румынских немцев» – трансильванских саксонцев – принадлежит и главный герой автобиографической, документальной книги, который становится жертвой Секуритате, румынской службы госбезопасности, и вовлекается в чудовищный, безумный процесс по надуманным, вымышленным обвинениям. Перед читателем разворачиваются картины,

исполненные кафкианского абсурда, предстает «зазеркальный» мир, где у героя остается лишь одна возможность выжить – подвергнуть свое сознание беспощадному самоанализу, осветив все его темные уголки и признавшись самому себя в своей истинной вине, в своих подлинных побуждениях, желаниях и страхах. Роман Эгинальда Шлаттнера – одновременно и документ «темного времени», и исследование мрачных сторон человеческой души.

Впрочем, книга не только об этом. Она полна чудесными воспоминаниями, встречами с настоящими людьми и любовью. Той самой любовью, которую теперь он отдаёт людям, служа священником лютеранской церкви Святой Марии в румынском городе Брашов.

# Содержание

Во встречном свете	6
1	6
2	24
3	45
4	64
5	102
6	129
7	168
8	191
9	216
Конец ознакомительного фрагмента.	240

# Эгинальд Шлаттнер

## Красные перчатки

Copyright © Paul Zsolnay Verlag Wien 2001

(Авторское право © Издательство Пауль Чолнай, Вена

2001)

Все права защищены.

© АЯКС-ПРЕСС, издание на русском языке, 2018

*Сузanne Доротее Онвайлер,  
которой тогда, восемнадцати лет отроду,  
достало мужества и любви,  
несмотря ни на что, стать моей женой*

*С благодарностью госпоже Бригитте  
Хильцензауер,  
сопровождавшей меня в трудном пути,  
каким явилось написание этой книги.*

*Эгинальд Шлаттнер, Ротберг/Трансильвания, осень  
2000 г.*

# Во встречном свете

## 1

Великое время – для меня оно началось незаметно. Чья-то рука заталкивает меня в камеру, я ничего не вижу. «*Stai!* Стой!» Кто-то снимает с меня металлические очки-заслонки. Потом дверь у меня за спиной с грохотом затворяют на засов. Я стою неподвижно. Поездка вслепую закончилась, я прибыл на место назначения.

После многочасового мрака глаза начинают что-то различать. Камера тесная. Если вытянуть руки в стороны, можно дотронуться до обеих стен. В углу стоит жестяное ведро без крышки. Я изливаюсь в него бесконечной струей, пока надзиратель не кричит: «*Ho! Ho!* Тпру! Остановись!» В зловонной жиже плавает дохлая мышь.

Ночь. Мертвая тишина. К стене на уровне груди привинчена столешница. Под ней батарея отопления. Оконный проем под потолком чем только ни забран: колючей проволокой, пуленепробиваемым стеклом, семью стальными прутьями. Над дверью в проволочной сетке мерцает слабая лампочка. Две железные койки справа и слева. Я измеряю шагами узкий проход между ними: три с половиной шага туда, три обратно. Воздух словно разряженный, трудно дышать. Во-

семнадцать запретов и заповедей, перечисленных в табличке на стене, я читать не стал. Что можно запретить в камере, где нет ничего, кроме койки, столика и решетки?

«*Camera obscura*», – шепчу я. Я боюсь давать вещам имена. И все-таки мне придется смириться: я в тюрьме Секуритате<sup>1</sup>. Как ни бейся, ничего здесь не изменишь. Ты именно там, где должен быть. Одиночество предполагает, что ты ни по кому не тоскуешь. Я ни по кому не тоскую. Отпечаток человеческого тела на соломенном тюфяке кажется мне едва ли не вторжением в мое личное пространство. Наверное, кто-то, скорчившись, пролежал там много ночей подряд. От его тела на тюфяке осталось углубление.

Надзиратель открывает окошко в двери; я успеваю рассмотреть только густые усы и верхнюю пуговицу униформы. Раздается приказ: «Лечь!» Я устраиваюсь на тюфяке, стараюсь попасть в очертания ложбинки, и вздрагиваю, определив на ощупь: здесь лежала женщина, лицом к проходу.

Спать полагается лицом к проходу, таково предписание. Или лицом вверх, вытянув руки на конской попоне, служащей вместо одеяла. Не успел я закрыть глаза, как меня грубо будит надзиратель. Он толкает меня палкой от метлы, потому что я повернулся к стене. «Повернуться!» Неужели за решеткой никогда не гасят свет? Я сворачиваю носовой платок и кое-как пристраиваю его себе на глаза.

---

<sup>1</sup> Секуритате (рум. Securitate) – Служба государственной безопасности Румынской Народной Республики.

Из Клаузенбурга<sup>2</sup> нас привезли сюда с завязанными глазами, в наручниках. Моего друга звали Тудор Басарабян. Но он настаивал, чтобы его именовали Михелем Зайфертом. «Зайфертом» – по девичьей фамилии покойной матери, а «Михелем» – в честь немецкого Михеля, которого он высоко почитал. Наши руки соединяли половинки наручников, одна его кисть была прикована к моей. Руки нам пришлось держать то у него, то у меня на коленях. При каждом необдуманном движении в наручниках что-то щелкало, браслеты врезались нам в запястья. «Американские наручники», – произнес офицер Секуритате. Наручники от заклятого империалистического врага...

Меня арестовали еще утром и полдня продержали в клаузенбургском отделении Секуритате. Ближе к вечеру повезли неизвестно куда. Когда мы въезжали по отвесным извилистым дорогам на горный хребет, возвышающийся над городом, перед нами в последний раз предстал мир: пока солнце заходило на холодном розовом небосклоне, город в долине медленно окутывала тень. Солдаты напялили на нас очки, и мы ослепли. Вместо стекол в оправы были вставлены жестяные заслонки.

Как себя вести? Мой дедушка полагал, что даже самая безумная ситуация не лишена своей эстетической привлека-

---

<sup>2</sup> Клаузенбург – немецкое название города Клуж (венгерское название – Колошвар), одного из центров проживания трансильванских саксонцев, этнических немцев, составлявших основное население исторической области Бурценланд в Трансильвании.

тельности. Когда он потерпел кораблекрушение, его, привязавшего себя к бочке из-под рома, день и две ночи носило по волнам Адриатического моря. При этом он пытался не утратить чувство собственного достоинства. «Нелегко пришлось, сынок! Бочку-то все время крутило».

Ну и как прикажете сохранять чувство собственного достоинства, если ты закован в наручники, обездвижен и ничего не видишь?

До тех пор я произнес только одну фразу: «Это недоразумение, начальство в Бухаресте разберется». Но никто из сидевших в машине этому не поверил.

Ну и какая же эстетическая привлекательность присуща этому часу?

Может, стоило оказать сопротивление, как наш преподаватель марксизма и политэкономии профессор Рауль Вольчинский, которого арестовали во время перерыва в коридоре университета? Спрятавшись за дверь уборной, я наблюдал эту сцену, одновременно жестокую и гротескную. И восхищался им.

Его увели вскоре после лекции, на которой он подробно излагал преимущества централизованного планового хозяйства. Когда господа вежливо попросили профессора пройти с ними, он отказался. Когда они схватили его, он вырвался. Когда они снова на него набросились, он отбил и бросился бежать. Как из-под земли прямо перед ним выросли еще двое агентов в штатском. Вчетвером они не могли справиться-

ся с отчаянно сопротивляющимся профессором, он тащил их за собой по коридору, и только с трудом они одолели его и сбили с ног. Он лежал на мозаичном полу и, как арлекин на арене цирка, беспомощно бился, пытаясь освободиться. Какие-то две студентки, спешившие, держась за руки, в уборную, искренне рассмеялись. Ну, разве не смешно: взрослые возятся, как дети. Товарищ Вольчинский во время борьбы потерял шляпу, и она еще некоторое время катилась за ним, но так и не догнала.

Элиза Кронер, как раз выходявшая из-за угла, повернулась на месте и двинулась в обратную сторону. «Таким, как мы, при подобных сценах даже показываться нельзя, а уж тем более на них глазеть», – написала она мне однажды. Мы неизменно обменивались письмами, не выезжая из города. А вот моя любимая однокурсница Руксанда Стойка подняла шляпу профессора и втайне сохранила ее как реликвию. Кто-то на нее донес. Девушку с гордым взором румынок с Рудных гор на семестр отстранили от занятий, шляпу конфисковали и пропустили через мясорубку. Оставшиеся клочки ночью бросили в реку.

Как же мне сохранить чувство собственного достоинства в такое мгновение? Я так и слышал голос своей бабушки: «Есть люди, с которыми разговаривать нельзя. Не потому, что мы лучше их, а потому, что они не такие, как мы. Тебя спасет только молчание». Сотрудники Секуритате были не такие, как я. Вот я и молчал. И прислушивался к тому, о чем

они говорят между собою. Хотя офицеры и солдаты пытались сбить нас с толку, обсуждая вымышленный маршрут, я в конце концов понял, в каком направлении мы движемся: из Клаузенбурга в Германштадт<sup>3</sup>. Возможно, и дальше на восток: в Кронштадт, ныне Сталинштадт, или даже в Бухарест, по ту сторону Карпат.

«Смотрите, – сказал офицер охранникам, может быть, даже повернувшись на сиденье, – вон наши колхозники, из Девы едут, с базара, домой торопятся». С базара? Что за вздор, не может такого быть. С другой стороны, не может быть, чтобы офицер говорил неправду. Но я невольно засомневался: а вдруг и правда везут в Деву? Зачем? Хотят заточить нас в возвышающихся над городом руинах крепости, где четыреста лет тому назад умер в темнице первый трансильванский епископ-унитарий Ференц Давид? Хотят бросить нас в средневековые казематы? Чушь какая.

Базара по субботам нигде не бывает. А потом, сейчас конец декабря, и мы провели в пути уже несколько часов. Наверняка уже темно, хоть глаз выколи. Сейчас каждый крестьянин греется в избе у печки, даже колхозник. К тому же, если бы мы ехали в Деву, шоссе проходило бы вдоль пойменного луга у реки Миреш, по пологому склону в долину. А вот если бы мы и вправду ехали в Германштадт, то шоссе пролегало бы по сплошным холмам. Я, студент-гидролог вы-

---

<sup>3</sup> Германштадт (румынское название – Сибиу) – культурная столица трансильванских саксонцев.

пускового курса, как свои пять пальцев знал не только русла всех рек Румынии, но и тектоническую структуру трансильванских ландшафтов.

И точно, шум мотора усилился, автомобиль стал преодолевать подъемы и виражи, нас начало бросать из стороны в сторону. Судя по тому, как тархтение мотора порой заглушали фасады домов, мы проезжали мимо деревень, знакомых мне по велосипедным прогулкам с друзьями, с девушками – в какой-то другой жизни.

Если мы действительно направляемся в Германштадт, то нас пересадят в другую машину. В первом же городке нового региона нас перегрузили в другой автомобиль, как я и предвидел. А Германштадт-Сибиу уже был центром района, входившего в Сталинский регион. В этом городе отделение Секуритате располагалось в бывшем императорском и королевском штабе корпуса, с террасы которого до тысяча девятьсот восемнадцатого года генерал, командовавший воинскими частями, каждый вечер созерцал факельное шествие в эпоху императоров и королей.

Это здание знал каждый. Мы, родившиеся после падения Австро-Венгерской империи, за версту обходили мрачную цитадель, обороняемую от врагов колючей проволокой и стальными пиками. По слухам, фасад вплоть до самой стрехи щедро украшала лепнина, изображавшая резвящихся амурчиков и нимф. Но из-за непомерно высоких стен, которые окружали двор, там почти ничего нельзя было разгля-

деть.

Машина затормозила. Нам приказали выйти, но мы были не в состоянии последовать команде. Невидимые руки схватили нас и перетасили в другой автомобиль. «*Repede*, быстро!» Можно ли было подтвердить, что мы остановились там, где я предположил, – в Германштадте? В Германштадте существовала трамвайная линия, запущенная по решению саксонского муниципалитета в девятьсот пятом; трамвай ходил от станции «Юнгер Вальд» до станции «Неппендорф». И звон трамвая раздавался перед хижинами и дворцами и даже перед укрепленным замком Секуритате. Вот этого-то трамвайного звонка я и ждал. И услышал его. Значит, еще не наступила полночь, ведь после двенадцати трамвайное движение прекращалось, оставались одни конные экипажи. Выходит, отсюда нас должны перевезти либо в Кронштадт, либо в Бухарест. Совсем скоро, когда проедем развилку дороги перед перевалом Ротер Турм, я это пойму.

Германштадт. Я на мгновение вспомнил о своей бабушке, жившей в нескольких улицах отсюда, столь хорошо воспитанной, что она за всю свою жизнь не произнесла ни единого грубого слова, даже в самые тяжкие времена. И о тете Герте, младшей сестре моей матери, сдержанной, как холодное дыхание. Они спали, зажатые между старинными креслами и комодами, в одной комнате, которую у них еще не отобрали. Им снились складные веера из слоновой кости и остановившиеся каминные часы. Все это не имело ко мне

никакого отношения, стало частью иного мира, другой жизни, и эту жизнь я утратил навсегда. В моих воспоминаниях померк даже мой младший брат Курт-Феликс, как и я, студент университета в Клаузенбурге, но университета венгерского, имени Яноша Бойяи<sup>4</sup>. Только накануне вечером я ходил с ним вместе в кино на мексиканский фильм с Марией Феликс. Когда на экране появилась незрячая девушка, исполняющая какой-то зловещий танец в ослепительном свете прожектора между цветов кактуса и мулов, мы, не стовариваясь, встали и ушли.

Во мне ничто не дрогнуло, пока мы проезжали по Фогарашу – Маленькому Городку, хотя машина и подпрыгивала на булыжнике. Здесь, на Беривойгассе пять, в доме, изъезженном дырами и щелями, спали мой отец, и мать, и самый младший брат Уве, а кошмары, в которых кишели крысы, только поджидали, как бы на них наброситься.

Когда мы наконец прибыли в Кронштадт, по-румынски Орашул-Сталин, для нас перестал существовать внешний мир, от которого я и так уже был отделен наручниками, непрозрачными очками, шелканьем ружейных затворов, которые с удовольствием передергивали трое конвоиров, и изменившейся природой времени.

В этом городе моя младшая сестра Элька Адель училась в пятом гимназическом классе школы имени Хонтеруса<sup>5</sup>. Жи-

---

<sup>4</sup> Янош Бойяи (1802–1860) – выдающийся венгерский математик.

<sup>5</sup> Иоганнес Хонтерус (1498–1549) – немецкий (трансильванский) ученый-гу-

ла она у Гризо, нашей бабушки. Бабушка вела хозяйство, да и вообще заправляла всем в доме своего зятя Фрица и своей дочери Мали. Мали, сестра отца, вышла замуж в сорок лет и в качестве приданого преподнесла мужу тещу; вклад же дяди Фрица в будущее благосостояние семьи ограничивался домом с барочным декоративным фронтоном. Дом находился в Танненау, предместье, сплошь застроенном виллами бывших богачей, туда можно было доехать на желтом трамвае.

Все четверо спали в одной комнате: бабушка и тетя на двух супружеских постелях, дядя на диванчике у них в ногах, Элька в уголке возле голландской печки. За окном выделялись силуэты голых яблонь, еще дальше вздымались ели в снежных шубах. Луна до крови расцарапалась о каменные когти горных вершин: Хоэнштайна, Крэенштайна. Взрослые храпели. Сестре снился пасхальный заяц. Посреди зимы. И красные пасхальные яйца.

Я лежу на соломенном тюфяке, сохранившем отпечаток чужого женского тела, надзиратель только что призвал меня к порядку, ткнув палкой от метлы, и я осознаю: все эти существа, которые в своем вечном круговращении составляют часть человеческой жизни и которым я по-разному был предан, навсегда застыли, обратившись в соляные столпы и отворачив от меня свои лица. Все, кто еще вчера был мне близок, во время сегодняшнего мрачного странствия утратили

для меня всякую привлекательность. Любовью к ним меня шантажировать не удастся.

В тюрьме чужие руки отобрали у нас очки, сняли наручники. Нам велели раздеться догола. Я с отвращением установился в дула двух автоматов. Михеля Зайферта увели. Мы не успели обменяться рукопожатием. Не успели даже обменяться взглядом. Не сказали друг на прощанье ни слова. Расстались навсегда.

Совершенно голый, я стоял перед ночными стражами, и капли пота стекали у меня из подмышек. Надо же, какие бывают профессии: посреди ночи направлять автоматы на голых людей, пока другие коллеги проводят личный досмотр этих голых. Во второй раз после Клаузенбурга мне пришлось испытать эти отвратительные ощущения: мерзавцы рылись в моей одежде, совали нос в кальсоны и обнюхивали их, чья-то физиономия протискивалась мне в задний проход, чьи-то грязные пальцы оттягивали крайнюю плоть, лезли мне в рот и, причиняя боль, проникали глубоко в ноздри. Руки охранника завладевали моим телом, отнимали мое тело у меня. Они словно заявляли: «Даже оно принадлежит нам!» – а я тем временем по команде поворачивался, наклонялся, становился на колени, поднимался и замирал.

Когда мне вернули одежду, выяснилось, что забрали брючный ремень, поясную резинку с нижнего белья, металлические набойки с ботинок, шнурки и галстук. «Все, с помощью чего можно совершить самоубийство», – осенило ме-

ня. Мне предъявили список моего имущества и моих рукописей. Не успев еще подписать – «repede, repede!», – только пробежав его глазами, я понял, что они провели тщательнейший обыск даже в квартире моих родителей в Фогараше. О том, что они рылись в моей студенческой каморке и захватили мои вещи из клиники, я узнал еще в Клаузенбурге из описи.

Готово! Когда я попытался неловко надеть обеими руками жестяные очки, ничем не удерживаемые штаны и кальсоны соскользнули с бедер. Охранники расхохотались так, что в камере без окон им откликнулось эхо. И толкнули меня в спину. Полуголый, я, спотыкаясь, куда-то двинулся. Они втиснули меня в подобие одностворчатого шкафчика, узкого, теснее гроба. Мои колени уперлись в дверцу, руки приклеились к дощатым стенкам. Расслабить тело я не мог. Дышать было нечем. В конце концов, они вытащили меня из этой щели. Ноги у меня подкосились. Им предстояло вновь научиться удерживать тело. Чья-то невидимая рука повела меня, как ведут слепых, и затолкнула в камеру, которой я поначалу почти не разглядел. Я бросился к жестяному ведру в углу. Стоял там и мочился, пока надзиратель на меня не закричал. Дохлая мышь в ведре крутилась как заведенная.

Я вспомнил эпизод из своего раннего детства в Сенткерстбанье, что в Секейском крае: как-то ночью за окном детской среди нарциссов и левкоев вдруг раздалось журчание, перешедшее в ровный, нескончаемый гул, – а что если это буй-

вол? А вдруг вообще какое-нибудь чудовище? Мы, малыши, от страха разбудили маму. Оказалось, что это облегчалась наша венгерская служанка Маришка, напившаяся пива со своим ухажером.

Я лежу в камере и пытаюсь с завязанными глазами обозреть ситуацию. Как же спастись от времени, которое она тебе навязывает? Не знаю. Брезжит слабая мысль: может быть, опережая свою судьбу на шаг, ну, как-нибудь, до самого финала...

Я проваливаюсь в сон, но тут меня будит толчок палкой от метлы, я вновь задремываю, в испуге вздрагиваю, просыпаюсь, и прихожу в ужас при мысли, что я здесь нахожусь.

Неужели я спал? Воздух, свет, стена в серо-белых пятнах те же самые. «Встать!» – доносится грубый приказ из-за дверного окошка. Затем дверь с грохотом открывается. Человек в солдатской форме и войлочных тапочках с выражением оскорбленного достоинства на лице, ни дать ни взять страждущий святой, ногой пихает в камеру жестяной совок и молча ставит рядом метлу.

На совке я обнаруживаю окурок виргинской сигары. Такую я иногда позволял себе в Клаузенбурге, например, сидя с Элизой Кронер в модной кондитерской «Прогресул» в подвальном этаже дворца Пальфи. А еще пачку таких сигар я всегда, отправляясь в Форкешдорф, покупал в подарок учителю Карузо Шпильхауптеру, отцу девушки, которая была в меня влюблена. Это зеленая виргинская сигара, не докурен-

ная и наполовину. На ней виднеется красный ободок дорожной губной помады. Так значит, здесь содержалась женщина! Дама!

Еще я на совке нахожу фольгу от плавленого сыра и мерзкие клочья седых волос. Из этого мусора можно извлечь очень ограниченный объем информации. Мою собственную добычу, после того как я вымел каменный пол, составляют крохотные соломинки под койкой. Клубки свалывшейся пыли. Да, и мышинный помет!

Когда дверь отворяется во второй раз, надзиратель с мрачным видом поучает меня, что, как только снаружи отодвинут засов, заключенному полагается отпрянуть вглубь камеры, стать лицом к стене и не шевелиться, пока не разрешат. Мне наплевать. Я здесь по чистой случайности, долго не пробуду. А еще меня злит, что эту дыру он именует «камерой», подумывать только.

Когда этим же утром, черным, как ночь, дверь опять отворяют с адским грохотом, я сижу по-турецки на койке. Вместо того чтобы, заломив мне руки назад, поставить меня к стенке, надзиратель протягивает мне жестяные очки и говорит: «*La program!*» О чем он? Неужели в такой ранний час заключенным предлагают какую-то культурную программу? И потому в коридоре хлопают двери и раздается шарканье? Мне неинтересно.

Я надеваю очки, их резиновая оправа липкая на ощупь. Невидимый охранник грубо поправляет на мне жестяную уз-

дечку так, чтобы она плотно прилегала к лицу, и я начинаю задыхаться. К тому же он сегодня явно не чистил зубы. Потом он приказывает, словно желая убедиться, вижу ли я что-нибудь: «Принеси помойное ведро!» Вытянув перед собой руки, я добираюсь до угла, тут же натыкаюсь на привинченный к стене столик, понимаю, что потерял ориентацию, по запаху нахожу ведро, наклоняюсь, не рассчитав, запускаю руку в мочу, хватаю плавающую в ней мышь, наконец, нащупываю ручку и слышу, как надзиратель шипит: «Vine!» То есть «хорошо». Он зажимает мою левую руку у себя под мышкой и нетерпеливо тащит меня куда-то, я не знаю куда. Я тяжело и неуверенно шагаю за ним, наклонив голову, вслушиваясь в окружающие меня звуки, а в правой руке несу полное ведро мочи. Мы резко поворачиваем вправо, надзиратель последний раз дергает меня: «Stai!» Он грубо срывает с меня очки, растрепав волосы. «Repede, repede!» И с непроницаемым лицом зловеще и кратко добавляет: «Стул должен быть регулярный – утром и вечером!»

Моим незащищенным глазам предстает уборная с несколькими раковинами и двумя унитазами, установленными в нишах без дверцы. Даже мои экскременты мне больше не принадлежат, их будут тщательно исследовать. Я равнодушно опорожняю кишечник. Не тороплюсь. Время не играет роли. Однако отсутствие туалетной бумаги вызывает у меня панику. Как быть?

Со спущенными штанами я приоткрываю дверь уборной

и высовываю голову наружу, в первый и последний раз вижу коридор, замечаю тесный ряд бронированных дверей с тяжелыми засовами, слышу доносящееся из камер бормотанье, неясный гул голосов. И тут же безвинно страждущий святой в войлочных тапочках как ошпаренный бросается ко мне. Потрясенный, он снова заталкивает меня в клозет. «А туалетная бумага? – спрашиваю я. – Hârtie igienică?»

«Туалетная бумага?» – переспрашивает он. Заходит ко мне в уборную. Что ему нужно? Я отступаю маленькими шажками, штаны волочатся по выложенному плиткой полу. «Садись», – говорит он дружелюбно. Я покорно сажусь на край унитаза. И узнаю, что существуют более гигиеничные способы подтирать задницу, чем предполагал до сих пор. То и дело озираясь, как будто кто-то притаился у него за спиной, мой помощник вводит меня в курс дела. Век живи, век учись. Вот только нужно забыть о привычном, старом, давно затверженном. Что я и делаю.

Он подает мне жестяную кружку, которую принес из коридора. «Потом оставь себе, будешь из нее воду пить. Вот как: льешь воду на ладонь и моешь задницу». Новый способ поддержания гигиены мне не дается. Я раз за разом попусту расходую воду, но он снова и снова терпеливо наполняет для меня кружку. Он бранит меня, хвалит, а я покорно сижу перед ним, скорчившись, на унитазе и честно пытаюсь выполнить все его указания. Наконец он произносит: «Minunat! Чудесно!» Моя задница чистая и прохладная, приятно до-

тронуться. Но дальше-то как? Я беспомощно показываю ему испачканные ладони. «Потяни за веревку! И подставь руки сзади под струю». Я делаю, как мне велели. Вода журчит, клокочет, пенится.

– А вытереть как?

– Помаши руками, так и посушишь. А потом вытри о штаны. А сейчас пошел, марш в камеру!

Назад он ведет меня размеренным шагом, точно мы идем к алтарю. Осторожно обнимает меня за талию, более того, даже придерживает за пояс, не давая ненадежным штанам упасть. В камере почти нежно снимает с меня очки. Обещает раздобыть крышку для туалетного ведра. А на прощанье произносит что-то запрещенное и неуместное: «Bună ziua. Всего доброго». Дверь он запирает на засов настолько бесшумно, что мне начинает казаться, будто он ее только притворил.

Надо придумать незнакомцу красивое имя. Я окрестил его Лилией. Их немало в Танненау. Когда плаваешь в заросшем лилиями пруду, они осторожно до тебя дотрагиваются. Он еще долго смотрит в глазок, время от времени наблюдает за мной.

А вот маленькое окошко в двери, кормушку, открывают редко. Во время завтрака, обеда и ужина. Тогда бестелесная рука протягивает через него миску с едой. Вскоре меня перестает удивлять, что надзиратель бесшумно, как на резиновых подошвах, подкрадывается к camera obscura, заглядывает в

глазок и так же бесшумно исчезает, а я его все равно слышу.

Как быстро все чувства привыкают к этой жизни, пока душа обращается в бегство. Мир скукоживается в страхе. Зато время безмерно разрастается, чтобы ты научился страху.

## 2

Сажу на койке и ничего не жду. В коридоре под шарканье ног и скрип дверей проходит *la program*. Мир погрузился во мрак. Я уже совершил утренний туалет, вновь сопровождавшийся замешательством и смущением. Зеркала нет.

Если когда-нибудь нам еще суждено будет увидеть собственное лицо, мы себя не узнаем. О бритье нет и речи.

Дважды, утром и вечером, разрешается выходить из камеры: «Стул должен быть регулярный!» Однако все во мне, все на мне так и стремится убежать: штаны без ремня норовят сползти на пол, в животе урчит. Вчера, в последнюю субботу тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, уже утром я был в пути. Я отпросился на выходные из больницы в Клаузенбурге.

Я проходил курс лечения в психиатрическом отделении: пять раз в неделю, с рассветом, на голодный желудок я получал укол инсулина, и дозу мне постепенно увеличивали. Инсулин поглощал сахар в крови. Вскоре я покрывался холодным потом, тело остывало, язык немел, превращаясь в сосульку, и я словно с ледяной горки скатывался в объятия смерти. Агония длилась несколько часов, а потом санитар закачивал мне в вены глюкозу. Я приходил в себя, возвращаясь издалека. Просыпался в поту, разбитый и счастливый, в постели, похожей на пенную ванну. И на несколько часов

избавлялся от скорбей и печалей. Жадно проглатывал завтрак и обед одновременно. И запивал их литрами компота, который приносили мне в постель заботливые студентки.

В клинику, расположенную высоко над городом, я обратился добровольно. Был уверен, что в этом месте несколько недель мне не придется заботиться о хлебе насущном, и хотел выиграть время, чтобы поразмыслить над всеми своими страданиями и муками.

Но неужели все ограничивалось едой и печалью? Неужели не обошлось без тайного расчета у такого, как я, искавшего защиты и убежища с тех пор, как в мир его детства ворвались русские? Последнее пристанище – лечебница. Я наивно полагал, что там им не так-то просто будет до меня добраться. Сумасшедший дом представлялся последним прибежищем в этой стране, окруженной колючей проволокой и полосой отчуждения. В этих старинных, еще австро-венгерских стенах я чувствовал себя в безопасности от посягательств призрачных сил, готовых завладеть мною и грозивших мне со времен «поражения», как называли это в наших кругах. Тогда, двадцать третьего августа тысяча девятьсот сорок четвертого года, королевство Румыния изменило прежним союзникам и стало на сторону Советов. Официально это именовалось иначе: «Освобождение Румынии от фашистского ига победоносной Красной Армией».

С того рокового дня во мне тлел страх наказания, хотя на совести у меня не было ничего скверного, кроме само-

го факта собственного существования: по документам я был гражданином Румынской Народной Республики, но гражданином не совсем полноценным. Как трансильванского саксонца меня официально причисляли к *naționalitate germană* и тем самым напоминали, что я поддерживал Гитлера. А как сын коммерсанта я оставался элементом сомнительного социального происхождения – *de origine socială nesănătoasă*.

Вчера я предпринял последний шаг, чтобы спастись от себя самого. Я спустился из санатория вниз, в долину, в университет, чтобы подать заявление о вступлении в ряды Коммунистической партии. Тем самым я отвергал свое злополучное происхождение и добровольно выбирал будущее.

Этот день и распланировал по минутам: я хотел получить стипендию. И до полудня работать в библиотеке. Потом посидеть над формулами, определяющими водоносность в реках. После обеда обещал пойти с девушкой, ученицей музыкальной школы, в кино на западногерманский фильм «Уличная серенада» с Вико Торриани. А вечером мой друг Зайферт звал к себе на танцы. Он уговорил своего отца, которому не мог простить, что звали его Мирча Басарабян и что был он румыном, на эту ночь освободить квартиру.

Из трехсот клаузенбургских студентов, участников «Литературного кружка имени Йозефа Марлина», была отображена маленькая группа. На этот вечер я пригласил интеллектуалку Элизу Кронер, мраморную красавицу. Едва успев появиться в Клаузенбурге, она вскружила голову многим

студентам. А кое-кому разбила сердце. Мой брат Курт-Феликс поставил диагноз, что в Клаузенбурге бушует «эпидемия кронерита». Началось настоящее паломничество к ней на окраину города, где она дешево снимала комнату у старухи-венгерки. Отцу Элизы раньше принадлежала ткацкая фабрика, но потом ее реквизировали. Свой срок, как положено фабриканту и капиталисту, он уже отсидел. Теперь он работал красильщиком, а она считалась дочерью трудящегося.

Начинающие ветеринары и будущие дипломированные трубачи непрерывно осаждали ее дом и жаждали вести с ней умные беседы, на что она вежливо соглашалась. Однако дальше все шло хуже некуда. Кавалеры с букетами путали «Основы девятнадцатого века» с «Мифом двадцатого века», каковые в свою очередь не могли отличить от «Заката Европы»<sup>6</sup>. Что Шопенгауэр, что Ницше, – им было все едино. «Дружеский брак» они смешивали с «Совершенным браком»<sup>7</sup>. И происходило это не только потому, что молодые люди отваживались вторгнуться в незнакомую область, но и потому, что при виде девушки все их мысли и чувства при-

---

<sup>6</sup> Упомянуты книги англо-немецкого идеолога расизма и антисемитизма Хьюстона Стюарта Чемберлена, немецкого теоретика национал-социализма Альфреда Розенберга и немецкого философа Освальда Шпенглера.

<sup>7</sup> В эссе «Дружеский брак» немецкой писательницы Лолы Ландау идеальное супружество-дружба описывалось как не сковывающее творческие стремления мужа и жены, а в книге «Совершенный брак» голландского врача-сексолога Теодора ван де Велде рассматривалась физиология супружеского союза.

ходили в смятение. А бесконечно повторять известное, то есть цитировать Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, никто не желал, хотя обсуждать этих господ поневоле приходилось часто. Когда число отвергнутых поклонников превысило критический уровень, Элизе Кронер присвоили прозвище Майские Заморозки.

Собираясь на танцы, я предпочел Элизу Кронер потому, что до меня дошел слух: якобы в Клаузенбурге есть только один студент, который ей нравится. А именно я. Как основатель литературного кружка или как личность, я не знал и решил не выяснять.

Вчера я спустился из клиники в город еще свободным человеком. Бесконечно простирался Ботанический сад, где позволялось гулять безобидным умалишенным и слегка опаленным безумием душам. Не раздумывая, я перемахнул через забор и оказался среди голых деревьев, в окружении оледенелых растений.

В этом саду каждому уважающему себя студенту полагалось провести ночь с возлюбленной, незаметно затаившись после закрытия. Таков был обычай. При этом любая пара обнаруживала, что даже самая короткая ночь все-таки длиннее дня. И что к утру холодает, и, как бы ты ни вертелся и ни крутился, согреться все равно можешь только с одного бока. Пусть даже избранница и очень пухленькая. Мне не удалось на эту ночь заманить с собой мою подругу Аннемари Шёнмунд, студентку факультета психологии. С безупречной ло-

гикой она доказала мне, что все это чушь. Зато в июне согласилась другая студентка, которой я предложил пойти со мной просто в шутку. Мы тогда укрылись в японском чайном домике, и часам к четырем утра, как и следовало ожидать, весьма похолодало.

Вчера я долго ползал в оранжерее между кактусами и баобабам, как бы в заграничной местности, но вполне легальной, и попусту потратил время. В папке у меня похрустывали документы, требуемые для вступления в Румынскую рабочую партию. К заявлению прилагалась слегка подправленная автобиография, рекомендации Коммунистического союза молодежи и результаты экзаменов. Вооружившись таким образом, я отправился к секретарю нашей парторганизации, доценту доктору Хиларие, преподавателю океанографии и геодезии. Он приводил нас восхищение тем, что мог наизусть перечислить все водопроводные насосные станции Румынской Народной Республики вместе с их географическими координатами и партийными секретарями, а еще назвать все заливы мира на языках тех стран, которым они принадлежали. К тому же мы высоко ценили, что он знал толк в одежде и выглядел как джентльмен.

Я долго медлил, терзая себя вопросом: смог ли я стать одним из них? Может быть, это был еще один акт самоотречения? Для начала надо было уничтожить прошлое: отказаться от предков, отвергнуть свое воспитание, даже истребить собственные воспоминания. Надлежало уступать, подчиняться

и слушаться до конца жизни.

А опыт повиновения у нас уже был: дабы не оскорбить утонченные чувства рабочего класса, мама первого мая не вывешивала белье во дворе. Из уважения к эстетическому вкусу пролетариата мы зажигали свечи на рождественской елке, задернув занавески на окнах. В погребке за бочкой кислой капусты рядом с портретом короля плесневела и свадебная фотография родителей: мама в пышном подвенечном платье, отец во фраке. А когда раз в год мы жарили венские шницели, то запирали дверь, чтобы Секуритате не могла обвинить нас в низкопоклонстве перед капиталистическим Западом.

Вчера я то и дело украдкой оглядывался. Вдруг за мной следует по пятам тайный агент? На углу Страда Армата Рошии – улицы Красной Армии – которая вела к университету, я замешкался. Что-то удерживало меня. Сам того не желая, я зашел в кондитерскую «Красный серп», местечко, начисто лишенное шика и обаяния: металлические стойки, выдаваемые за столики и стулья, серп и молот на стене в качестве украшения – вот и все. Я заказал дешевый кофе. Он оказался чуть теплым и безвкусным. На нитяном чулке официантки прямо на колене красовалась дыра.

Со стуком распахнулась дверь. В кафе ввалилась компания студентов-медиков. От них пахло формалином, все говорили по-венгерски. Запачканные халаты они небрежно побросали на спинки стульев. Заметно возбужденные, деви-

цы-медички уселись на колени к молодым людям. Все заказали кофе, крепкий и горячий, и пили, громко прихлебывая. Они говорили наперебой, не слушая друг друга. Из прозекторской пропал труп. В Бухаресте потеряли голову от волнения. Венгерские заговорщики! «С пятьдесят шестого года у них во всем мы, венгры, виноваты!» Среди этого шума и крика снова открылась дверь. На пороге остановился неприметный человек. Лицо его скрывали облачка выдыхаемого на морозе пара. Он окинул взглядом собравшихся и вдруг заорал: «*Aici nu este Budapesta!*<sup>8</sup> Это румынский социалистический город!» Воцарилась мертвая тишина. Девицы соскользнули с колен своих обожателей и стали смущенно озираться в поисках стульев. Студенты не двигались с места. «*Mai decent! Unde este morala proletară?*»<sup>9</sup> – закричал незнакомец пронзительным голосом, который, казалось, исходил не из его тщедушного тела. Никто не ответил, даже официантка. Потом облачко пара унесло посланника чуждых сил. Дверь осталась открытой. Кафе опустело. Я расплатился и ушел. Еще несколько шагов, и я у цели. Поджав ноги, я сижу на железной койке в камере в сталинштадтском отделении *Секуритате*. Рассвет еще не наступил, небо по-прежнему темное. В тишине я замечаю, как все мои чувства сладострастно овладевают воспоминаниями, а тем только того и надо – так и толпятся, так и становятся в очередь: память и без

---

<sup>8</sup> Здесь вам не Будапешт! (рум.)

<sup>9</sup> Какое неприличие! Где же пролетарская мораль? (рум.)

того услужливо преподносит мне каждый шаг, каждый жест и каждую когда-либо появлявшуюся у меня мысль. Именно сейчас, когда я хочу забыть о своей биографии. Настоячивее, чем прежде, я спрашиваю себя, можно ли вырваться, научиться думать и поступать иначе, чем те люди, к кому ты приписан историей и судьбой.

Наученные горьким опытом жизни на чужбине, мы, трансильванские саксонцы, столетиями придерживались девиза первых переселенцев: «*Ad retinendam coronam*» («Преданные короне»), или, по Лютеру: «Подчиняйтесь всякой власти»<sup>10</sup>. В январе тысяча девятьсот сорок пятого года, когда всех работоспособных людей депортировали в Россию, трансильванцы покорно позволяли уводить себя тысячами. В нашем большом семействе не противился ни один из тех, за кем пришли. Например, мой отец: его задержали спустя две недели после назначенного дня в нарушение всех правил, ведь в свои сорок шесть он уже не подлежал депортации, к тому же был призван в румынскую армию. И его брат Герман, который родился в тысяча девятисотом году, а значит, почти не подходил по возрасту к угоняемым в Россию: бабушка Гризо в Танненау выплакала все глаза, и без того вечно слезящиеся. И младшая сестра мамы, наша тетя Герта, обладавшая столь утонченным вкусом, что полученные подарки, не распаковывая, отдавала уборщице. И ее муж дядя

---

<sup>10</sup> Из послания к римлянам 13:1 в немецком переводе Мартина Лютера: «Всякая душа да будет покорна высшим властям».

Герберт, бухарестский бонвиван, вместе с женой и любовницей.

Не протестуя, они дали загнать себя в вагоны для скота. Самое большее, некоторые попытались избежать депортации. Ложились в больницу на удаление аппендикса или прятались у румынских крестьян в печке. Тогда вместо них хватали пожилых или совсем юных, добирая до нужного числа. Количество депортированных должно было соответствовать документам. Пока их везли, шестнадцатилетние девочки замерзали насмерть, мальчики горько плакали. Иногда вместе со своими прихожанами в Россию добровольно отправлялся старый пастор: например, так поступил Арнольд Вортман из Элизабетштадта.

Изгоняемые из саксонских деревень, разбросанных за Алютой, притоком Дуная, тряслись на телегах, изо рта от холода шел пар, и так они ехали через весь Фогараш под конвоем местных полицейских и русских солдат. В большинстве своем это были женщины и девушки, закутанные в шерстяные шали, державшие на коленях узелки с пожитками. Их отцы и мужья были на фронте, сражались за немецкое отечество против румынской родины. Женщины пели «Не знаю я земли милей», пели «Инсбрук, прости-прощай», и морозное дыхание искажало их лица. Цепляясь за телеги, брели их матери, которых то и дело отгоняли конвоиры. На козлах повозок вместо кучеров сидели отцы задержанных. На перроне, оттесняемые кордоном русских солдат, крестьянки, ритмич-

но раскачиваясь, стали вскрикивать на диалекте: «Вот до чего дожить довелось!» В черных шалях, надвинутых до самых глаз, они напоминали плакальщиц. Отцы замерли и стояли безмолвно, держа кнутовища прямо перед собой, словно часовые с ружьями. Когда поезд тронулся, жертвы, загнанные в вагоны, стали высовывать в щели и зазоры кончики пальцев, перчатки и носовые платки и размахивать ими, как флажками, передавая последний привет оставшимся, пока не исчезли в ледяной дали. Вот до чего дожить довелось!

Тринадцатого января тысяча девятьсот сорок пятого года прошли внезапные массовые депортации. Трансильванию от Брооса до Драаса<sup>11</sup> с восхода до заката оглашали крики скорби. Мы с самого начала рассчитывали, что из наших близких никого не заберут. Родители уже перешагнули роковой возрастной рубеж. Могли забрать нашу служанку Регину, однако она была родом из румынской общины Бэркуц. Жена управдома Сабо, наша экономка, была венгеркой.

Хотя непосредственная опасность миновала, наша мама каждый вечер украдкой уходила из дома. По городу еще рыскали патрули, которые ловили уклонившихся. Почему же именно в тот день она, пройдя еще несколько улиц, не прокралась к Атамянам, куда я провожал ее по садам, окольными путями, тайными оледенелыми тропками? Кто теперь скажет? Там ведь ее ждало скрытое от глаз убежище. За тяжелыми турецкими коврами, отогнуть которые было под си-

---

<sup>11</sup> Румынские названия – Орэштие и Дрэушени.

ду только хозяину дома, армянину, находилась заранее освобожденная кладовка, в которой обычно хранились пряности. В ней царили ароматы Востока, и чувствами того, кому случалось пробыть там подольше, овладевали галлюцинации «Тысячи и одной ночи». Однако там могли в трудные времена спрятаться люди, не вызывавшие подозрений у властей. И безошибочно чувствовавшие опасность. Сарко Атамян, единственный из большого клана, пережил армянскую резню, устроенную турками. Тем не менее он носил феску и курил кальян.

Когда в этот печальный вечер в конце января к нам в заднюю дверь стали громко стучать, мы тотчас же поняли, что случилось, еще до того как по-румынски и по-русски нам приказали отворить: «*Repede, repede, быстро, быстро!*» Уже несколько лет подряд в Трансильвании пугали детей: «Вот придут русские...» Ну, вот они и до нас добрались.

Наша мама, двое мальчишек, Уве, я и Регина бросились в переднюю. Маленькая сестренка спала в детской. Курт-Феликс куда-то исчез. Отец находился в казарме, отбывал службу военным счетоводом. Уве, самый младший, отодвинул дверной засов, прежде чем его успели остановить. Он словно решил, что ему по сравнению с остальными бояться нечего.

Так за кем же они пришли? Наверное, не за мной, потому что мне еще не исполнилось семнадцати. Но я был выше ростом большинства своих сверстников и очень крепкий.

Словно окаменев, я стоял, не в силах пошевелиться. Зато не потеряла присутствия духа Регина. Едва снова забарабанили в дверь, как она схватила меня за руку, потащила к старинному шкафу в глубине передней и втокнула меня туда. Мы заползли под маскарадные костюмы деда и бабушки, тщетно ожидавшие карнавала. В шкафу пахло духами и нафталином. Нас так трясло от страха, что пришлось держаться друг за друга, чтобы не выдать себя стуком о стенки шкафа.

По справедливости, мы могли не опасаться за маму, потому что она давно уже перешагнула предельный возраст депортации. К тому же моя сестренка была еще совсем маленькой, а матерей с маленькими детьми высылать категорически запрещалось. Так в том числе значилось в приказе советской городской комендатуры. На зеленой бумаге, черными буквами, на румынском и на немецком. Приказ был вывешен в витрине на стене евангелической церкви, где настоятель Штамм регулярно звонил в колокола, сопровождая заупокойные службы, и в нашей школе на улице Мартина Лютера, в актовом зале которой согнали арестованных, и возле бывшего местного отделения НСДАП на Шлахтхаусгассе, где до недавнего времени днем и ночью развевался флаг со свастикой. В приказе перечислялось, что можно взять с собой: не более, чем помещалось в один рюкзак, но непременно две пары шерстяных носков. Наша мама предусмотрительно сшила пять светло-зеленых рюкзаков, каждый меньше предыдущего, вплоть до кукольного ранца для младшей

сестренки, и положила в них все необходимое.

И вот перед нами стояли незваные гости: русской солдат, румынский полицейский и человек в штатском. Последний, несмотря на отчаянный холод, был в мягкой фетровой шляпе с широкими полями. И не снимал ее, несмотря на жару в доме. Оба солдата сдвинули шапки на затылок.

«Проверка документов, – гнусаво произнес человек в шляпе. – Многие саксонцы в городах и в деревнях не откликнулись на призыв Советского Союза участвовать в восстановлении страны». Перспектива восстанавливать на Украине разрушенное гитлеровскими ордами не вызывает, де, у них особого восторга. К тому же в списки вкралось немало ошибок. Они охватывают далеко не всех *ethnic germans*<sup>12</sup>, еще и потому, что окружное отделение НСДАП двадцать третьего августа тысяча девятьсот сорок четвертого года уничтожило списки жителей округа Фогараш. А его руководитель Шенкер, трусливый мерзавец, изменник родины, переделся румынским крестьянином и бежал вместе с немецкими солдатами. «Мы все знаем!»

Услышав эти слова, я содрогнулся. Кажется, Регина испугалась, что я сейчас выпаду из шкафа. Она поцеловала меня в губы, бесстрастно, словно просто хотела закрыть мне рот.

Человек в шляпе потребовал у мамы удостоверение личности. Удостоверение она ему тотчас вручила, но что-то было не так. Сквозь щель между неплотно закрытыми дверца-

---

<sup>12</sup> Этнических немцев (англ.).

ми шкафа я следил, как полицейский и комиссар в штатском склонились над ее паспортом. Они стали перешептываться. Тем временем русский солдат, держа автомат на изготовку, обводил глазами многочисленные двери в прихожей.

Внезапно раздалась краткая команда: «*Veniți cu noi!*» – и тут же по-русски: «*Следуйте за нами!*» Мама дрожащим голосом стала уверять их, что она родилась не в шестнадцатом году, а значительно раньше, что в новый паспорт вкралась ошибка, а она ее, к сожалению, не заметила. Она тотчас же предьявит свидетельство о рождении.

«Ни с места!» Солдаты схватили ее за руки. «Собирайтесь!» Они беспокойно огляделись в прихожей: двери, двери, сплошные двери... Кто знает, что случится, если все семь дверей распахнутся одновременно? А еще огромный шкаф. Поскорее бы прочь отсюда!

И тут на глазах всех троих, словно повинувшись невидимой волшебной палочке, стена расступилась. Открылась восьмая, потайная дверь, скрытая обоями, и в переднюю вышел мой брат Курт-Феликс. На спине он нес заспанную сестренку. Она щурилась на свет. Увидев двоих солдат, малышка широко раскрыла глаза, засияла и приветливо сказала: «Хайль Гитлер!» И подняла пухленькую ладошку в фашистском приветствии.

Русский отставил автомат, прижал ребенка к себе, погладил по головке, покачал, поднял над головой, посадил к себе на плечи и стал рысцой бегать туда-сюда. Вне себя от радо-

сти он то и дело выкрикивал: «*Ах ты, моя маленькая!*» А потом передал ее на руки маме.

Затем русский, стуча сапогами, удалился, увлекая за собой тайного агента, которому пришлось придерживать свою шляпу. Румынский полицейский широко ухмыльнулся. Брат Уве запер дверь на засов и прошептал: «Моряк не дрейфит никогда. Не бойся, Розмари!»

Тишина. Какое-то мгновение никто не трогался с места. Не пошевелились даже мы с Региной, задыхающиеся под тяжестью карнавальных костюмов. Внезапно от нее восхитительно пахнуло перцем и ванилью. Я почувствовал, как наши губы соприкасаются, мы не целовались, просто один пытался поймать рот другого, ощутить восторг и боль. В конце концов, дверцы резного дубового шкафа распахнулись. Мы выкатились наружу, впившись друг в друга губами, а над нами зашуршали бархатные и шелковые маскарадные костюмы. Мы кувыркком полетели на мозаичный пол, на котором наследили грязными сапогами непрошеные гости, и остановились у маминых ног. И расхохотались. Расхохотались что есть мочи. Хохотали, пока на глазах не выступили слезы.

На следующий день, когда Регина шла от булочника Кремпельса на Кронштедтерштрассе, ее арестовали. Моего отца задержали спустя несколько дней в крепости, на нем была униформа королевских войск. Он носил ее до конца, до того момента, когда за ним закрыли на засов раздвижную дверь вагона для скота. Ее не отворяли до самого прибы-

тия в Донбасс. Ведь даже покойникам полагалось добраться до пункта назначения. Количество депортированных должно было соответствовать документам.

Наша хитроумная мама выяснила, что по вечерам, когда отключалось уличное освещение, по городу рыскали патрули и отлавливали людей. Вскоре к немцам добавились и другие: румыны, избранные по списку, венгры, поначалу совсем немногие, ведь они считались старыми, испытанными коммунистами, евреев не трогали, их пока щадили. Но в конце концов не посчастливилось никому, даже торговцу коврами Атамяну с его феской и кальяном. И даже начальнику синагоги Эрнесту Глюкзелиху.

Вчера, когда я спустился из клиники в университет, электрические часы показывали без десяти одиннадцать. Бледное солнце едва виднелось над уходящими вдаль крышами.

Сначала получить стипендию. Задним числом, за два месяца. В ноябре я пропустил выдачу стипендии, потому что уехал на литературные чтения в Южную Трансильванию. Выступал перед участниками литературных объединений Кронштадта, Цайдена и Германштадта с фрагментами моего рассказа «Самородная руда», который вскоре должен был появиться в печати.

А что если эти «товарищи», дамы за зарешеченным окошком деканатской кассы, о чем-то догадывались? Сблизив головы, они принялись перешептываться, бросали на меня

смущенные взгляды, пока одна из них, с плохо покрашенной химической завивкой, не велела мне подняться в ректорат, там со мной якобы хотят поговорить. «А потом приходите к нам за деньгами».

В том, что меня вызвали в высшие административные сферы, ничего необычного не было. Часто меня разыскивали репортеры, ведь «Литературный кружок имени Йозефа Марлина» был новшеством, доселе невиданным. С легким сердцем я отправился туда, куда меня послали. Здание университета было возведено во времена Австро-Венгерской империи, и все в нем отличалось пышностью и великолепием. Монументальную главную лестницу венчал полукупольный потолок и обрамлял ряд классических колонн. Роскошная лестница служила продолжением просторного вестибюля. На первой площадке она разделялась, и два блестящих, широких пролета вели на этаж.

Наверху, в секретариате, какая-то дама поспешно отправила меня дальше, указав на следующую дверь – в ректорскую комнату для совещаний. Там за массивным письменным столом восседал глава образовательного учреждения. Перед ним на стеклянной столешнице лежал чистый лист бумаги. Он бросил на меня быстрый, пронизательный взгляд карих глаз и вновь углубился в созерцание пустого листа. Глухим голосом он велел мне пройти дальше, через два кабинета в ректорской приемной меня кто-то ждет.

Тот, кто встал со стула в приемной, не был – я это сразу

почувствовал – частью университетского мира, моего мира. Этот странный человек протянул мне руку, и я, помедлив, ее пожал. Почти застенчивым жестом он указал на соседний стул, прося меня сесть спиной к двери. Так, чтобы она оставалась в поле его зрения.

Я обвел взглядом просторный кабинет. Вокруг изящных столов были расставлены стулья из стальных трубок. Через окно с полукруглой аркой на продольной стороне комнаты падали бледные лучи декабрьского солнца. На поперечной стене висел портрет товарища Георге Георгиу-Дежа. Верховный руководитель партии взирал на меня сверху вниз. Пастор Арнольд Вортман предполагал, что он не реакционер и мракобес, а достойный человек, радеющий о народе и пекущийся о благе рабочих. «Добрый человек из Бухареста, – подумал я, – сейчас весьма озабочен. Ведь из ванны с формалином пропал труп. Кто знает, чьих рук это дело».

Еще до того, как незнакомец показал мне свое удостоверение, на котором я успел различить одно слово – «Секуритате», я понял: вот оно. Прежний страх, который терзал меня уже тринадцать лет, не ослабевая ни на минуту, наконец обрел воплощение.

Годами я представлял себе, при каких именно обстоятельствах меня схватят. Воображаемая сцена вселяла безграничный ужас. Я проваливался в бездну ужаса, распадаясь на молекулы страха.

В действительности все происходило по-другому. Даже

сердце у меня не стучало бешено. Только пересохло во рту, и на языке появился горьковатый привкус, напомнивший мне об одном из самых важных экзаменов по гидравлике.

Мы молчали, посланец иного мира и я. Словно из-под земли передо мной выросли двое мужчин, чрезвычайно элегантно одетых, двигавшихся с деланной медлительностью и небрежностью. Как только они вошли, мой сосед вскочил и стал по стойке «смирно», держа руки по швам. Оба они, хотя и в штатском, наверняка были офицеры.

«Всегда смотри, какие на них ботинки, – поучал меня Михель Зайферт, которому Секуритате внушала ужас с шестнадцати лет. – Если дорогие, из магазина “Ромарта”, значит, это точно они». На вошедших были ботинки из «Ромарты». Значит, это они. Сели, не снимая шляп и пальто. Я заметил, что они нервничают. Постукивают кожаными перчатками по столу. Они чувствуют себя здесь неуютно. В следующее мгновение оба быстро встали. Один, подчеркнуто элегантно, сказал: «Пойдемте к нам, там никто не помешает. Просто поговорим по душам». Я хотел было взять свой портфель, но их подчиненный уже завладел им. Мне приказали, спускаясь по лестнице, вести себя непринужденно, как ни в чем не бывало. Я вел себя как ни в чем не бывало. И не пытаться убежать! Я не пытался убежать.

Я знал, что, как только они выйдут из тени и я увижу их лица, мне будет вынесен окончательный приговор. Офицеры велели мне идти между ними, меня окружило облачко

сладковатого одеколона. Тот, что нес мой портфель, шел следом. В холле я заметил плакат нашего литературного кружка. «Союз коммунистических студенческих объединений Румынии». Ниже красовалось объявление, выполненное крупными яркими буквами: «Трансильванско-саксонский литературный кружок имени Йозефа Марлина. Хуго Хюгель читает фрагменты своих произведений. Сталинштадт, среда, 8 января 1958 г., в 20.00 в главном актовом зале университета». Один офицер с усилием потянул на себя массивную входную дверь и вышел на улицу. Русский легковой автомобиль марки «Победа», поблескивая зеленым лаком, стоял с включенным мотором чуть в стороне от входа в здание, под ближним деревом, неподвижно простиравшим ветви в пустоту. Второй офицер, обойдя машину, сел на заднее место справа. Потом первый офицер втиснул на заднее сиденье меня и кое-как поместился слева. Человек с портфелем занял пассажирское место рядом с водителем и, достав из кармана пальто пистолет, повесил его на ручку. «Поехали», – скомандовал один из офицеров.

### 3

Должно быть, надзиратель после первой ночи, которую я провел в камере, разбудил меня очень рано. А может, время превращается в нить шелкопряда еще и потому, что уже отказываешься от будущего. Однако даже последний день уже ушел куда-то далеко-далеко.

Увидев вчера из окна машины клаузенбургское отделение *Секуритате*, я страшно удивился. Оказалось, что оно располагается в переоборудованном просторном здании школы на улице Карла Маркса. А здание это помещается напротив дома, где в студенческие годы жила Аннемари Шёнмунд, моя прежняя возлюбленная. Я бывал у нее каждый день, частенько по вечерам, иногда и ночью, а потом все кончилось. На какое-то мгновение, пока машина тормозила, мне показалось, что я почувствовал тяжелый аромат жасмина и острый запах раздавленной перечной мяты, а взгляд мой искал над дощатым забором голые ветви сирени, скрывавшей наши свидания.

С прошлого ноября я больше не виделся с этой женщиной. Изгнал самую мысль о ней. Когда развеялось благоухание жасмина и мяты, опали листья сирени, истлели и воспоминания о жарких тайнах, о ласках в сумерках и о любовных играх в ночную пору. Но кончики моих пальцев сохранили память о ней.

Машина затормозила прямо у ее дома, агент, сидевший рядом с шофером, вышел, словно желая проверить, точно ли мы приехали по нужному адресу, и я окончательно убедился, что мой арест как-то связан с Аннемари. Здесь, у ворот ее квартирных хозяев, мы попрощались год тому назад, хотя она еще не сказала тогда, что хочет со мной расстаться. Я вздохнул с облегчением, когда наш автомобиль свернул в подворотню напротив, в бывший школьный двор, где перед нами бесшумно, словно сами собой, распахнулись и затворились огромные стальные ворота.

Вокруг не было ни души.

Меня вытащили из машины и повели в подвал Секуритате.

Здесь впервые мне пришлось вытерпеть обыск, который этим людям не надоедало проводить раз за разом: они глазе-ли на меня, раздетого догола, лезли во все щели и отверстия моего тела, обнюхивали белье. Нагоняли на меня страх, пока у меня не взмокли подмышки. И в конце концов составили список отнятых у меня предметов, сопроводив его насмеш-ливыми комментариями. Тон задавал пожилой лейтенант с волосами мышиного цвета. Дойдя до моих сигарет, он рас-смеялся:

– Надо же, «*Republicane*»! Это уже подозрительно.

– Почему? – спросил я.

– Ты здесь не имеешь права задавать вопросы, вопросы задаем мы. Ты же точно знаешь, что раньше эта марка назы-

валась «*Royal*», королевский сорт.

Они проявили большое усердие. Возможно, пока я спускался из клиники в город, они побывали в моей студенческой каморке: из плетеной корзины для белья посыпались тетради, папки, дневники. Признаю ли я, что все это мои рукописи? Я признал. У меня на глазах бумаги тщательно взвесили и связали в стопки, а я безучастно смотрел на эти манипуляции, ощущая себя пустой обнаженной оболочкой.

Захватили они и мои вещи из клиники. Из чемоданчика свиной кожи, который я утащил у отца, вытрясли мои пожитки, в том числе зеленые плавки, что показалось им очень и очень странным. «С ума сойти, плавки зимой!» И много книг. Я собирался пробыть в клинике долго. Когда они стали записывать заглавия, мне пришлось помогать, а некоторые названия произносить по буквам. Томас Манн «Рассказы», том девятый гэдээровского зелененького издания. «Жатва», антология, составитель Вилль Веспер<sup>13</sup> – стихотворения от «Вессобруннской молитвы» до «Финала» Рильке; слава Богу, последние включенные в нее поэты умерли до тридцать третьего года. Сочинения Освальда Шпенглера, которые я одолжил у учителя Карузо Шпильхауптера. «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. «Как закалялась сталь» Николая Островского в румынском переводе. Сейчас они еще обвинят меня в космополитизме! Я стал сле-

---

<sup>13</sup> Вилль Веспер (1882–1962) – немецкий писатель, ярый сторонник национал-социализма.

дить за самим собой.

Все конфискованное они скрупулезно внесли в список, даже шнурки, которые вытащили у меня из ботинок, и уж тем более плавки. Подозрения вызвала у них сберкнижка: накануне моего ареста мне перевели по почте из Бухареста первую часть гонорара за рассказ «Самородная руда». Я сразу же положил деньги на счет в Почтовом банке, а это была огромная сумма: годовая зарплата моей мамы или зарплата отца за восемь месяцев.

Они внимательно рассмотрели фотографию моей младшей сестры. Пятнадцатилетняя девочка в купальном костюме прижимала к юной, едва округлившейся грудке справа щенка, а слева котенка. «Смотри-ка, кошка с собакой, – процедили тюремщики, – как брат с сестрой!» Но больше ничего не сказали. После того как они все обнюхали и своими каракулями внесли все в опись, мне разрешили одеться, пока не тронув ни пальцем, и седой лейтенант произнес: «В Секуритате точнее, чем в аптеке».

После личного досмотра меня до вечера поместили в подвальную камеру. Я вытянулся на койке, укрывшись шинелью. Рядом со мной были еще двое. Я умолял их оставить меня в покое. Я ничего не хотел ни видеть, ни слышать. Один, крестьянин, с печальным видом удалился в угол, стал на колени и принялся молиться, но от другого так просто отделаться я не смог. Это был сельский врач, впрочем, зеленоватым цветом лица больше походивший на горняка. Тщетно я

просил его ничего мне не сообщать, ни о чем не спрашивать, от меня же будут потом требовать объяснений. «Нет, амнистии не ожидается». Я умолял его не говорить мне, сколько он тут уже сидит. Он прошептал: «Три месяца». Это меня ужаснуло. Я попросил его замолчать, но он говорил и говорил. Я зажал уши. Он развел мне руки в стороны и продолжил накачивать меня информацией.

– Их власть абсолютна. Но не каждому разрешено все, – сказал доктор. – Например, надзиратель в коридоре может наказывать тебя только за небольшие нарушения: допустим, за то, что ты поделился хлебом со своим сокамерником или на секунду прилег на койку; в наказание он может поставить тебя в угол, как воспитательница в детском саду. Но не на несколько минут, а на часы, а то и на целый день, если захочет. Но для этого большинство надзирателей слишком ленивы. – И продолжал: – В случае неповиновения, выходящего за рамки камеры, – например, ты молился с другим заключенным, или поймал мышь и из сострадания снова отпустил, или, одержимый желанием умереть, проглотил кусок мыла – на сцену выходит начальник охраны, он выводит тебя из камеры и запирает в стенном шкафу, ты там стоишь вроде каменной статуи святого в нише, только неба не видно.

Он присел на краешек моей койки и явно не мог поверить, что наконец-то ему попался настоящий интеллектuala – *un intellectual veritabil*. И внезапно сказал на плохом немецком:

– Какое счастье, что я мочь разговаривать с вас. Надеюсь,

вы надолго здесь остаться, дорогой коллега!

Он приподнял мою шинель и поцеловал меня в лоб.

Тут крестьянин прервал поток его излияний и потребовал:

– Говорите по-румынски! Я тоже хочу знать, о чем это вы там.

– А ты заткнись! Закрой свой рот, чтоб тебя! Господь возрадуется, когда ты наконец дашь ему покой.

В двери открылось окошко, и чей-то голос довольно дружелюбно произнес:

– Целоваться запрещено!

Нарушителю было велено отойти от моей койки.

– Встать! Не двигаться с места!

Мой ментор продолжал поучать меня стоя:

– Избивать, пытаться, издеваться над заключенными – это привилегия тюремщиков среднего звена, да и то только по приказу сверху и с ведома высшего начальства.

«На языке марксизма-ленинизма это называется демократический централизм», – устало подумал я, а он в поэтическом восторге продолжал, время от времени переходя на немецкий:

– Если по тактическим соображениям надо причинить арестанту боль, то не каждый тюремщик может поступать самовольно. Например, бить ключами по голове, женщинам тушить сигареты о грудь, а мужчинам сдавливать яички. Этому надо учиться, на это надо получить приказ. Не каждо-

му разрешено зажимать тебе руку в дверной щели, или бить тебя палками по пяткам, или дубить тебе шкуру велосипедной цепью. Но есть один, кому дозволено все!

Он поднял руки и показал на потолок.

– Там, наверху, он, высочайший, избранный, ему нет равных!

И тихо добавил:

– Пока его не свергнут. Кто высоко сидит, низко упадет, вплоть до нас.

Он торопливо продолжал, словно часы его были сочтены:

– Даже умирать не позволено. Смерть по собственному желанию строжайше запрещена. Они отняли у тебя все, чем ты мог бы себя прикончить. Посмотри только на себя!

Он сорвал с меня шинель, подергал за не удерживаемые ремнем штаны, подвигал туда-сюда башмаки без шнурков.

– Металлические и стеклянные предметы брать в камеру не разрешается.

Я, не сопротивляясь, подчинялся.

– Камера такая узкая и короткая, что пытаться разможжить себе голову о стену бессмысленно. Слишком мало места, чтобы сломать себе шею. Так и останешься с кривой шей и, хуже того, в живых. Я врач и знаю, что говорю. А если откажешься есть, то разожмут тебе челюсти чем-то вроде тисков и закачают в тебя жидкое питание. Их заботливость не знает границ.

Открылась кормушка. Показался чей-то нос и сказал, об-

ращаясь ко мне: «Положи шинель в ноги койки так, чтобы я видел твои руки и лицо». Нос приподнялся и исчез, окошко заполнили губы и подбородок. Врачу было велено: «*Terminat!*<sup>14</sup> А теперь, доктор, садись-ка к себе на койку. И присматривай за этим типом». Потом в окошко рядом с подбородком воткнулся палец и показал на меня. «У него не все дома».

Едва усевшись на койку, доктор принялся ожесточенно чесаться, стараясь дотянуться до самых труднодоступных мест. У меня закралось подозрение: «А что если все, о чем он мне поведал, ему пришлось испытать на собственной шкуре?» Он напустился на крестьянина:

– Хватит уже, завел шарманку! Господу Богу, поди, тебя уже и слушать тошно. Лучше почеси мне спину.

Он уже закатывал на себе рубаху. Я перебил его:

– Пощадите меня. Избавьте меня от зрелища ... .. – Я с трудом удержался, чтобы не произнести слова «следов пыток», и вместо этого сказал по-немецки:

– ... ваших ран. Я не хочу уходить отсюда с такими тяжелыми впечатлениями.

В полутьме его кожа выделялась пергаментно-блеклым пятном, на ней проступали сплетающиеся завитки и спирали неглубоких порезов.

– Ран? – переспросил доктор недоуменно. – Что вы хотите этим сказать? – И продолжал по-румынски:

---

<sup>14</sup> Хватит! (рум.).

– Отсутствие солнечного света здесь, в камере, отрицательно сказывается на состоянии кожи, ухудшает обмен веществ. Знаете, ведь солнечные лучи воздействуют, как витамины.

Не прерывая своих скорбных молитв, крестьянин поднял на своем сокамернике рубаху до затылка. Судя по длинным ногтям, он сидел здесь уже давно. Он принялся за работу. По-прежнему молитвенно сложив руки, он когтями наносил кровавый узор на спине товарища. Тот застонал от наслаждения:

– *Excellent!*

Из-за двери донеслось дребезжание посуды.

– Ага, обед!

Доктор принялся:

– На первое картофельный суп, на второе – кислая капуста. По вечерам дают перловку или бобы.

Поскольку я промолчал, он пояснил:

– В тюрьме существуют всего четыре блюда: кислая капуста, бобы, перловка и картошка. Такое приготовить даже я бы смог.

Крестьянин, перестав молиться и чесать спину доктору, замолк и замер, раздув ноздри. Став у двери, оба приняли от надзирателя три жестяные миски супа. Я не пошевелился. Дежурный просунул нос в кормушку и заорал на меня:

– А ну ешь!

– *Ну*, нет, – ответил я.

Есть здесь мне не хотелось.

Надзиратель не стал настаивать. Обеими руками поднеся миску к губам и жадно прихлебывая отвар, доктор произнес:

– Сейчас вы увидите, как выглядит здесь разделение труда. Сначала появится начальник охраны. В этих стенах ему принадлежат здоровье и самая жизнь заключенных. Он должен любой ценой сохранить их неприкосновенными. Если с заключенным что-нибудь случится, начальнику охраны не поздоровится.

Дверь распахнулась. Не выпуская из рук жестяных мисок, мои сокамерники повернулись лицом к стене. Я лежал на койке, укрывшись шинелью дяди Фрица, и не шевелился.

Вошедший грубо спросил, почему это я лежу. Это был лейтенант с проседью, который уже допрашивал меня сегодня. Я ответил, что болен, меня привезли сюда из клиники.

– Почему ты не ешь?

– Вот потому и не ем.

На этом разговор закончился. Лейтенант ушел. Доктор объяснил мне: «Сейчас придет врач в звании майора. А что будет потом, увидим». Снова загрохотал дверной засов. Лейтенант ввел в камеру другого офицера. Тот прищурился и неодобрительно взглянул на слабую лампочку над дверью. На его плечах красовались бордовые эполеты, на эполетах сияла золотая звезда, обрамленная змеей и чашей с ядом. Надзиратель в дверях замер по стойке «смирно», попытавшись щелкнуть подошвами войлочных тапок.

Военный врач ни о чем не спрашивал. Он надавил мне на живот. Потом велел показать язык. Я повиновался. Он отвернулся, и я прикрыл живот. Я произнес: «Меня забрали из психиатрической клиники. Там меня лечат, вводя в инсулиновую кому. Мне надо немедленно вернуться». Майор приказал: «Взять его!» Сейчас они меня избьют до полусмерти. Мне стало и страшно, и любопытно.

В камеру привели повара. Однако в руке он держал не половник, а, как ни странно, брючный ремень. Он был в униформе, но на голове шапка-ушанка, белый передник на животе, а лицо напоминало разваренный сельдерей; ничего удивительного, ведь год за годом он готовил одни и те же блюда: кислую капусту, бобы, перловку и картошку. Начальник охраны приказал мне подняться и сесть на край койки. Надзиратель ремнем связал мне руки за спиной. Потом пришел черед повара: он зажал мне нос и ложкой стал проталкивать суп в мой поневоле разинутый рот. Состарившийся на службе лейтенант его подбадривал. Все эти люди трогательно заботились о моем благе, но мне как назло вспомнилась мерзкая сцена из моего детства в Сенткерстбанье: наша венгерская служанка откармливала праздничного гуся кукурузой. Одной рукой она раскрывала упрямой твари клюв, другой проталкивала кукурузные зерна ей в горло, а средним пальцем еще вводила зернышки с острыми краями поглубже. Дело шло недурно, пока гусь не вырвался, пошатываясь, как пьяный, и, переваливаясь с боку на бок, сделал несколь-

ко шажков по деревянной галерее и упал. Задохнулся, не в силах вынести такого изобилия.

И тут же память услужливо поднесла еще одну сцену: та же служанка кормила моего брата Курта-Феликса шпинатом, который тот терпеть не мог. Курт-Феликс кричал как резаный. Служанка решительно зажала ему нос, так что ребенку пришлось открыть рот. Он проглатывал шпинат и начинал хватать ртом воздух. Снова и снова. Но последнюю ложку выплюнул ей в лицо.

Вспомнив коварство Курта-Феликса, я засмеялся, и те, кто со мной мучился, сочли это добрым знаком. Они от меня отступились. Я вычерпал ложкой суп, от которого пахло жестью и в котором плавали глазки застывшего жира. И тотчас же меня вырвало. Таким образом, я всем угодил.

– Ну, вот, пожалуйста, – сказал врач, после того как в камере наступила тишина, и прищелкнул языком: – Видите, дорогой коллега, даже своеволие подчиняется порядку, даже в нем есть иерархия.

После насильственного кормления меня вывели из камеры. С завязанными глазами меня потащили сначала вверх по лестнице, потом вниз: грохотали двери, в коридорах было холодно, пахло плесенью.

– Короче шаг! – Заскрипела деревянная дверь. – Отойти назад! Осторожно, ступенька!

Я сделал шаг назад, забыл о ступеньке и полетел спиной в какое-то обитое досками углубление. Перед носом у меня

захлопнулась дверь. Меня торчком втиснули в ящик, такой узкий, что я не мог ни поднять руки, чтобы снять очки, ни развести их в стороны, чтобы постучать кулаком по деревянной обшивке. А едва я попытался согнуть колени, как они уперлись в переднюю стенку. «Ниша для святых, вот только неба из нее не видно», – вспомнил я. Нет, скорее, гроб, в котором стоишь по стойке «смирно».

Я заставил себя успокоиться, памятуя совет своего деда: «Что бы ни случилось, сохраняй самообладание!» И совет бабушки: «Что бы ни случилось, настраивайся на хорошее!» И прицепился мыслью к первой возникшей ассоциации: к стоящему торчком гробу. Где я об этом слышал? Где читал? Кажется, в какой-то деревне, затерянной в курляндских лесах, скорбящих гостей, собравшихся в парадной комнате усопшего на поминки, сопровождающиеся бдением у гроба и оплакиванием, за грушевым шнапсом и сдобным хлебом охватило мистическое веселье. Восторженная радость овладела теми, кто провожал усопшего. Они пустились в пляс. А поскольку в комнате для такого безумного, буйного веселья места оказалось мало, гроб с покойником поставили торчком и прислонили к стене. И как ни в чем не бывало закружились в хороводе дальше.

Я почувствовал, как мои ноги сами собой задергались в ритме польки, отбивая бешеный, неудержимый ритм. Неожиданно дверь передо мной распахнулась, я потерял равновесие. Ничего не видя, я мешком рухнул вперед, прямо в

объятия надзирателя. Тот зашипел:

– Ты что вытворяешь?

Я не сказал, что танцую польку. Нет, я ограничился лишь простым объяснением:

– У меня дрожат колени.

– Идем.

Когда он снял с меня жестяные очки, я увидел, что в освещенной резким светом ламп комнате без окон находится Турдор Басарабян, он же Михель Зайферт; руки его были привязаны к подлокотникам кресла.

– Молчать! – напустился на нас какой-то офицер, хотя я и так не собирался открывать рот. Первой мыслью, которая появилась у меня при виде Зайферта, было: «Элиза Кронер будет ждать меня напрасно».

Я словно видел, как она сидит на табурете в кухне своей квартирной хозяйки, при *pleine parade*<sup>15</sup>, под дешевой лампочкой, в темно-синем платье, с унаследованными от бабушки жемчугами на шее, под надзором старой карги, в тени грубых байковых панталон и пропотевших бюстгалтеров, сушащихся над печкой. Элиза, неприступная, точно мраморная статуя, с «Доктором Фаустусом» в руках.

Потом, когда меня повезли в военном автомобиле, я испугался. Мы явно ехали в предместье, где жила Элиза Кронер. Неужели ее тоже втянут в эту гнусную историю? Но в

---

<sup>15</sup> Полном параде (франц.).

объезд мы двинулись по причинам домашнего хозяйственного свойства: нужно было получить в одном месте и отдать в другом деревянный лоток для мяса, такой огромный, что на него можно было уложить целиком забитую свинью. В Секритате намечался праздник забоя свиней?

На миг перед моим внутренним взором предстала зловещая картина: раненая свинья вырывается, бросается то туда, то сюда, несется по извилистым, как ходы лабиринта, подземным коридорам. Из ран сочится дымящаяся кровь, однако визг животного заглушают обитые войлоком стены. Забойщики хлопают в ладоши. Заключенные в темницах звенят цепями.

«Думай о насущном», – одернул я себя. Сначала это деревянное чудовище лежало на коленях у нас, обоих заключенных, и у троих солдат, сидевших напротив. Когда машина добралась до пригорода и свернула в какой-то ухабистый переулок с маленькими домиками и высокими деревьями, лоток для мяса заплясал у нас на коленях в такт подпрыгивающему автомобилю. Никто не мог его удержать. Ведь конвоирам приходилось крепко сжимать в руках винтовки, а мы были пристегнуты наручниками друг к другу.

Машина затормозила у скромного домика, стоящего между двух шелковиц. Капитан вышел из машины и что-то кратко скомандовал. Двое солдат выгрузили деревянную емкость. Они с уважением поставили исполинскую посудину у ворот. И снова проворно заняли места напротив нас. Они сидели с

непроницаемыми лицами и не сводили с нас глаз, а мы разглядывали все, что могли.

Дощатые, недавно сколоченные ворота сверкали зеленой краской. Фасад дома с двумя окнами, тоже свежевыкрашенный. Его обитатели собрались в тихом переулке, нетерпеливо обступив офицера: две женщины, распространявшие кухонные запахи, поспешно снимали фартуки, неуклюжий мужчина скрестил на груди голые руки, из карманов его кожаного передника торчало несколько ножей, дети в вязаных кофточках и меховых шапках, демонстрируя воспитанность и послушание, протиснулись впереди взрослых. Офицер с каждым поздоровался за руку, не снимая перчаток. Трое мальчишек доверчиво протянули ему покрасневшие ладони, он потряс руку каждому. Потом ущипнул за щеку девочку и раздал всем сласти.

Высокий начальник проверил, хорошо ли человек в переднике наточил нож, которым завтра перережет горло откормленной свинье, спросил у женщин, все ли гарниры и пряности они приготовили, и с удовлетворением установил, что чеснок уже почищен. И похвалил жирную свинью, которую мальчишки выманили из свинарника кукурузными зернами и которая от тучности едва держалась на ногах и при каждом шаге с хрюканьем оседала в снег. На шее у нее был повязан румынский триколор.

«*Foarte bine*», очень хорошо, – одобрил офицер. После завтра будет три года со дня провозглашения Народной Рес-

публики. Однако сине-желто-красную ленту надо заменить красным бантом. Взрослые понимающе закивали. Человек в рубаше снова вытащил нож. Двумя взмахами он отрезал у одной из женщин завязки красного фартука и приказал мальчикам украсить жертвенное животное. Женщина взвизгнула: «Осторожно, детей не заколи!» Другая пояснила: «Он ракии хлебнул. Но так уж повелось, без этого нельзя». Мальчики сделали, как им велели, хотя и не совсем так, как предписывал офицер Секуритате: красную фартучную завязку они добавили к триколору. Цвета отечества и красный бант.

Из ворот, опираясь на палку, приковыляла старуха в черном, закутанная в низко надвинутый на лоб шерстяной платок. Женщины хотели ей помочь, но она только рукой махнула. Она стояла, не прислоняясь к воротам, держась очень прямо и опираясь на одну лишь палку. Капитан подошел к ней. Потом снял кожаные перчатки, склонился и поцеловал ей обе руки. Старуха внимательно оглядела его блестящими глазами и сказала: «Опять на задании, опять в разъездах. Поторопитесь, а то как бы ночь в пути не застала!» Он благоговейно опустил голову, и она трижды перекрестила его склоненный лоб.

Когда мы уезжали, все они с каким-то странным видом смотрели нам вслед: мужчина с ножом, женщины в облаке кухонных запахов, дети, сосущие леденцы. Старуха в черном проводила нас строгим взглядом, ни дать ни взять настоятельница дальнего монастыря. А самый безумный вид был у

свиньи в праздничных лентах.

Да, настало время великого забоя свиней.

Когда мы выехали из Клаузенбурга по улице, переходящей в шоссе и ведущей на юг, один из солдат по приказу офицера укрыл нам ноги пальто на меху. Такой жест удивил Михеля Зайферта, и он, не боясь, сказал об этом вслух: он не ожидал, что о нас будут так заботиться, он поражен, он этого просто не ожидал.

– А ты как думал, – откликнулся офицер, который расположился на переднем сиденье и поигрывал пистолетом, – у нас железный порядок. Наш верховный вождь, товарищ Георге Георгиу-Деж, внушил нам, что человек – самый ценный капитал.

Позднее, когда весь мир и наша машина погрузились во тьму, солдаты незаметно перетянули половину зимнего пальто на себя. Хоть и свободные люди, они тоже мерзли.

Несмотря на трогательную заботу, конвоиры запретили обращаться к ним со словом «товарищ». Нам полагалось величать их «господин», «*domnule*», а приветствовать «*să trăiți*», возвещая тем самым многая лета и господину майору, и господину ефрейтору.

– А почему *domnule*? – спросил Михель Зайферт. – Разве согласно постановлению ЦК партии любой гражданин не обязан обращаться к своим согражданам «товарищ», начиная от «товарища воспитательницы детского сада» и заканчивая «товарищем Лениным»?

Офицер грубо ответил:

– Данный декрет не распространяется на заключенных и священников.

Это было убедительно, но Михель Зайферт продолжил мысль и примирительно добавил:

– И на короля.

– Заткнись, – прошипел офицер и приказал надеть нам обоим очки-заслонки. Машина, пройдя несколько крутых поворотов, поравнялась с горной деревушкой Феляку. Внизу, в долине, город объяла морозная фиолетовая дымка. Последнее, что мы увидели перед тем, как окончательно погрузиться во тьму, были горы на Западе и солнце, сверкающей пылью рассыпавшееся на их ледяных вершинах. Узреть что-то другое нам было уже не дано.

Крошечное окошко под потолком нерешительно озаряется светом. Прошедший сквозь прутья свет медленно ощупывает стены. Наступает серое утро.

По коридору грохочут колеса, останавливаются, со стуком движутся дальше. Открывается кормушка. Завтрак! «Отрубленная» рука наливает коричневатую бурду в жестяную кружку. Потом передает мне кусок хлеба и добавляет кубик мамалыги. «Это порция на целый день», – предупреждает меня бесплотный голос. Я не ем, но внимательно рассматриваю маленький многогранник из кукурузной муки.

Когда-то, в том, другом, мире, он был ярко-желтым. Крутую кашу служанка вываливала из чугунного котла на разделочную доску. Там эта масса и лежала дымящимся полушарием. Отец разрезал ее шелковой нитью на кусочки. Мама лопаткой для торта перекладывала порции разного размера на тарелки нам, детям, и поливала их буйволиным молоком. А здесь, в этих стенах, мамалыга отливает зеленью.

Когда пуленепробиваемое стекло внезапно озаряется ярким светом, откуда-то сверху, с неба, раздается ритмичный звук, гул из высших сфер, словно приливная волна, бьется о решетки и стены, сотрясает темницу. Я встаю с койки, выпрямляюсь. Склоняю голову. Складываю руки, но не молюсь.

Это звонит большой колокол Черной церкви в Кронштадте. Он расколот трещиной, и потому звонят в него только по самым торжественным поводам. Вероятно, происходит что-то необычайное.

Не успел колокольный звон умолкнуть, как я вздрагиваю от никогда прежде не слышанных звуков. Наверное, это где-то в коридоре с пронзительным скрежетом открылась дверь. Затем донесся грохот шагов, они явно приближаются, шум становится все отчетливее и отчетливее. «Похоже на снаряд, устремляющийся к цели», – думаю я. Я сжимаюсь в комок. Дверь распахивается. На пороге вырастает солдат в сапогах, рядом с ним надзиратель по прозвищу Лилия, в войлочных туфлях, с непроницаемым лицом.

Сидя на койке, я смотрю в пол. Солдат в сапогах подходит ко мне, берет за плечо и протягивает мне металлические очки: «Идем!» Еще не встав с койки, я надеваю их и тут же слепну. Поднимаюсь на ноги. Он берет меня под руку и тащит за собой. Я мешкаю. «Repede, repede!» Я со страхом переставляю ноги и не только потому, что должен слепо повиноваться. «Отсчитай одиннадцать ступеней, а теперь три шага, еще одиннадцать ступеней!» Я отсчитываю, спотыкаюсь, отсчитываю. Свободной рукой поддерживаю штаны, чтобы не предстать перед всем миром с голой задницей. Раздается команда: «Стой!» Потом: «Вперед!» Потом опять: «Стоять! Отвернуться к стене!» А где стена? Пахнет заплесневелым мылом и карболкой. В промежутках между приказами шел-

кают замки, мое лицо щекочет сквознячок. Я принимаю, прислушиваюсь. Все чувства жадно открываются навстречу впечатлениям.

– *Stai!* – шипит мой провожатый.

Меня заталкивают в какую-то комнату. Сквозь очки я различаю яркий свет. И ощущаю запах человеческого тела.

Мужской голос спрашивает где-то за стеной темноты:

– Ты знаешь, где находишься?

Разве мне положено это знать? Я бормочу:

– Не понимаю вашего вопроса.

– Ну, в каком городе? – произносит голос.

– В Сталинштадте, – вырывается у меня невольно.

– Кто тебе это сообщил?

– Я сам догадался.

– На какой улице?

– На Ангергассе.

– Где?

Тщетно я пытаюсь не выговорить слово, которое они заставляют меня произнести.

– Где?

Монотонный голос доносится откуда спереди слева.

Я судорожно сглатываю:

– В Секуритате.

– Какой сегодня день?

– Двадцать девятое декабря.

– Сними очки!

Я стаскиваю очки с лица. Кто-то берет их у меня из рук.  
Человек в униформе приказывает:

– Сесть за столик!

За столик? После темноты я ничего не вижу. Какой-то голос командует:

– За столик у двери.

Пауза.

– Ты слышал, что тебе сказали?

Я прищуриваюсь и наконец его различаю. Сажусь, хочу придвинуть стул поближе. Выясняется, что стул и стол привинчены к полу.

В комнате полно мужчин в штатском. Чувствуется, что они заняли привычные места вдоль стен и посреди комнаты. Они аккуратно одеты. Неотличимы друг от друга. Все в серых костюмах, сшитых на заказ, в неярких поплиновых рубашках, в скромных галстуках, дорогих ботинках. Один похож на другого так, что можно перепутать. У зарешеченного окна за письменным столом сидит офицер с двумя массивными звездами на погонах, подполковник. Неужели это те товарищи, к которым ты не без робости направлялся еще вчера? Не может быть. Я не хотел здесь оказаться.

Никто не произносит ни слова. Ничего не происходит. Только их взгляды устремлены на меня. Они молчат. Я жду.

Костюмы на заказ! У нас в семье женщины напоминали мужьям: «Сходи к портному». Дедушка, Ганс Герман Инго Густав Гольдшмидт, с неизменной бабочкой и платком в на-

грудном кармане, всегда ходил только в костюме, даже дома. Слава богу, он, как выразились обе тетки, Хелена и Гермина, вовремя умер в феврале тысяча девятьсот сорок седьмого; король еще не отрекся от престола и оказывал большевикам сопротивление, как пристало царственной особе.

Мой отец... Свой костюм в черную крапинку из камвольного сукна отец отдал мне, когда я решил изучать теологию. Костюмы на заказ с шароварами-гольф шились по мерке даже нам, мальчикам, у мастера Бардоца в Фогараше. Погружаясь в воспоминания, я так и чувствую приятную щекотку в шагу, когда портной, став на колени, дотягивался до паха сантиметровой лентой, ощупью пробирался наверх по внутренней стороне бедра и останавливался между ног, определив длину штанины. По мерке нам, мальчикам, тачали и башмаки: грубые альпийские ботинки, на два размера больше, чем нужно, чтобы мы не сразу из них выросли. Поначалу нам разрешалось надевать их только по воскресеньям, набив носки ватой. В ту пору. «В ту пору – автоматически думаю я, – в пору господства эксплуататоров, до освобождения от ига фашизма».

И слышу собственный голос: «Вчера я намеревался подать заявление о приеме в партию. Соответствующие документы вы найдете в моем портфеле». Тишина. Никто не трогается с места. «А портфель, кстати, тоже у вас». Сейчас воскресенье, утро. Они не спешат. Зато я тороплюсь. И слышу, как мой собственный голос настойчиво произносит: «*Vreau*

*imediat o confruntare cu un medic psihiatru!* Я требую психиатрического освидетельствования!»

Офицер едва заметно пошевелился, и все мужчины в штатском устремляют взгляды на него. Тот, кажется, удивлен. Внезапно все мои чувства предельно обостряются. Я ощущаю, что мои слова чем-то их обеспокоили, и выпаливаю: «Я требую немедленно меня отпустить!»

Подполковник спрашивает:

– Ты знаешь, кто мы?

Остальные снова переводят взгляд на меня с самым сосредоточенным видом. Я снова кошусь на их ботинки.

– Да, – отвечаю я.

– И кто же мы?

Я медлю, силясь подобрать нейтральную формулировку:

– Сотрудники Секуритате.

– И откуда тебе это известно?

Я чуть было не ответил: «Потому что на всех вас ботинки из “Ромарты”», – но офицер перебил меня:

– Ты слишком много знаешь.

Я сжимаю колени, чтобы у меня не дрожали ноги, и ставляю себя задать вопрос:

– Почему меня сюда привезли? Где ордер на мой арест?

Никто не отвечает, хотя среди них, наверное, есть старший по званию. Но они намеренно себя не называют.

– Я хочу, чтобы меня освободили. Я не совершил никаких преступлений, я не противник режима. Я это доказал. Один

мой рассказ на злободневную тему был удостоен приза и денежной премии в Бухаресте. Этот коричневый костюм, что сейчас на мне, я купил на те самые деньги.

– Мы все это знаем.

– В Клаузенбурге я основал «Литературный кружок имени Йозефа Марлина», он стал частью Коммунистического студенческого союза. Я назвал его в честь саксонского борца за свободу, соратника Петефи. Подобно ему, Марлин погиб как герой во время революции тысяча восемьсот сорок восьмого – сорок девятого годов.

– Твой революционер Йозеф Марлин умер в своей постели от холеры.

Это верно.

– Но все-таки он боролся за свободу, – настаиваю я.

– К тому же, – продолжает офицер, – Марлин этот совершенно ничего не значит. Вон в Будапеште венгерские студенты свой литературный кружок в честь Петефи назвали «Петефикёр»! И под видом культурного учреждения занимались контрреволюционной деятельностью! А сейчас сидят за решеткой. Мы всё знаем. Но узнаем еще больше. Потому-то мы вас сюда и привезли, тебя и остальных. Мы хотим без помех выяснить ваш образ мыслей и намерения, – заключает офицер.

Остальных? Про Михеля Зайферта я знаю. А кого еще они задержали? Я говорю наугад:

– Остальные тоже лояльные граждане Народной респуб-

лики, искренне преданные режиму.

Я действительно желаю, чтобы так и было, я даже верю в это. Мысленно умоляю друзей заявить о своей лояльности.

– Вот мы это и проверим. Времени у нас много.

Но времени нет у меня. Я торопливо продолжаю:

– Я страдаю не только психастенией, но и потерей памяти.

От нее меня лечили в клинике. Глютаминовой кислотой. У меня значится и в диагнозе: ослабление памяти. Значит, я ничем не могу вам помочь.

Передо мной вырастает эдакий великан во цвете лет и самого угрожающего вида:

– Прекрасно! Тогда здесь для тебя самое подходящее место. У нас, как в санатории. Здесь ставят на ноги самых разных больных. Например, боли в желудке сами собой проходят от нашей щадящей диеты. Людей с расстроенными нервами мы здесь тоже лечим. А если у кого, как у тебя, *amice*<sup>16</sup>, провалы в памяти, тот уж точно выздоровеет, есть у нас хорошее лекарство. Каждого тут мы доведем до того, что дырявая память как губка напитается, и все, до капельки, из нее выжмем: он даже то вспомнит, чего и вовсе не было.

Не слишком ли он разоткровенничался? Но его никто не прерывает.

Курс лечения прошел удачно, если пациент не отказывается от сотрудничества. Так бывает при любых болезнях: пациент тоже должен работать над собой, помогать врачу.

---

<sup>16</sup> Дружище (рум.).

«Colaborare!»<sup>17</sup> – волшебное слово.

Сопя, великан садится на свое место среди неподвижных агентов. Все они сидят на мягких стульях в одинаковых позах. Однако, в отличие от прочих, этот добродушный исполин держит руки сложенными на животе. Остальные же положили руки на колени.

– У тебя есть какие-нибудь жалобы? – спрашивает подполковник из-за письменного стола.

– Только на мое задержание. И хочу знать, почему меня сюда привезли.

И тут мне приходит на ум важная деталь: ведь можно пожаловаться на отсутствие туалетной бумаги!

Все присутствующие едва заметно косятся на великана со сложенными руками. Тот произносит отеческим тоном:

– Так вот что тебя оскорбляет? Тем самым ты, *amice*, дал первые важные показания. Ведь туалетная бумага – буржуазное изобретение для изнеженных и развращенных задниц эксплуататоров. Упомянув о ней, ты не только выдал свое социальное происхождение, но и доказал, насколько ты привержен буржуазному образу мыслей, хотя и утверждаешь обратное.

«Черт побери, хоть вообще не произноси ни слова!»

– Дьявол, нечистый, рогатый, прячется в мелочах! И его-то мы как раз из вас и изгоним. Разве у нас раньше водилась дома туалетная бумага, а, товарищи?

---

<sup>17</sup> Сотрудничать (рум.).

Присутствующие покачали головами. Никогда. Знать не знали и ведать не ведали.

– И вообще, кто из нас мог похвастаться, что дома у него был ватерклозет, это вредное изобретение английских плутократов? И вообще, уборная в доме, гадость какая!

И после этого великан начинает описывать иные способы подтирания задницы, демонстрируя детальное знание предмета: кукурузным початком с вылущенными зернами, такого хватит на целую семью; в начале лета листьями ревеня; в любое время года, в любом месте, пальцами, а пальцы потом можно вытереть о стену. Вот потому-то стены в клозете внизу сплошь в коричневых полосах. Можно даже приспособиться, приноровиться, и палкой дерьмо отскребать. Вот отсюда и выражение «у него палка в дерьме», ну, это вроде как у вас, у немцев, «у него рыльце в пушку».

Тут я замечаю, что, читая лекцию, он не упоминает процедуру с кружкой, предложенную в этих стенах. Они знают многое, но не все. В заключение богатырь сообщает мне, что истинному пролетарию, в отличие от буржуа, ничего этого не нужно. Ведь сфинктер у него функционирует столь точно, что экскременты отрезаются ровненькими порциями, «ну, прямо как кусочки салями».

И тут наконец мне задают вопрос, ради которого, пожалуй, сюда и привезли:

– Кто такой Энцо Путер? А ну, выкладывай все, что о нем знаешь!

Энцо Путер, чтоб его! Я отвечаю, не мешкая, с досадой и горечью:

– Я знаю только одно: он отнял у меня подругу, с которой я дружил четыре года, а теперь увозит ее к себе в Германию. Для меня все это дело прошлое! Было и быльем поросло!

– А для нас нет! – возражает офицер, а брюнет, который говорил со мной прежде, добавляет:

– Если речь идет о высоких политических ставках, если в дело вмешиваются интересы империализма, личное отступает на второй план.

– Я не поддерживал никаких отношений с этим человеком и не собираюсь поддерживать с ним отношения.

Офицер качает головой:

– Может быть, да, а может быть, нет.

– И никогда больше с этой, с ...

– С твоей бывшей подругой. Мы знаем это, а еще знаем, что ты поклялся лучше сдохнуть в канаве, чем еще раз показаться ей на глаза.

Именно так я поклялся однажды вечером у ее ворот, вскоре после того, как Энцо Путер в ноябре тысяча девятьсот пятьдесят шестого уехал обратно в Германию по путевке туристического агентства «Фрëлих».

Я чувствую себя выставленным на всеобщее обозрение вроде вскрытых трупов в прозекторской университетской клиники. В те катакомбы, где царила непристойная оголенность, полагалось один раз спуститься каждому из нас, так

было принято, студенческий обычай, вроде ночи, проведенной в Ботаническом саду с избранной барышней. У меня на глазах одни длинными крюками подтаскивают разъятые тела к краю раковин. Другие склоняются над бетонными столами, роются в пропитанных формалином внутренностях, сосредоточенно вглядываются в извилины человеческих мозгов, наслаждаются видом и осязанием гениталий.

– Этого Энцо Путера я и видел-то всего один раз, мельком.

– И целую ночь проговорил с ним, – добавляет офицер, – с глазу на глаз, в доме твоей подруги. А до этого вы провели весь вечер вместе: он, ты и она. А до того пообедали вчетвером: вы трое и мать твоей подруги. Пообедали вы поздно, потому что только после двух ты приехал поездом из Фогараша, а именно в Бартоломе, где тебя уже ожидала подруга.

– Она мне не подруга, – раздраженно возражаю я.

– Твоя бывшая, – соглашается он. – В общей сложности в прошлом году одиннадцатого-двенадцатого ноября ты провел в обществе этого подозрительного субъекта восемнадцать часов тридцать три минуты. А именно здесь, в этом городе, на Страда Зион, в доме номер восемь. После чего утром он вышел из дома в сопровождении твоей бывшей подруги, намереваясь уехать в Бухарест, а оттуда в Западную Германию. – И продолжает столь же мягко:

– Уехал он с центрального вокзала. Там они целовались, пока не подали состав, и целовались, когда он уже стоял на

подножке, когда поезд уже тронулся. – Внезапно он кричит так пронзительно, что я невольно зажимаю уши:

– Этот западногерманский бандит и твоя чертова шлю-ха, предательница родины, целовались без всякого стыда!

На это я не нахожу, что ответить. В голове у меня пустота, а в этой пустоте ничего, кроме ужаса. Лишь бы выбраться отсюда! Хоть на край света. В июне, после защиты диплома, тотчас же бежать, бежать к великим рекам Китая, на берега Янцзы и Хуанхэ. Братский социалистический народ объявил, что нуждается в гидрологах на Желтом море, далеко отсюда!

Ораторствующий офицер говорит, что много еще невысказанного у него на сердце, однако...

Однако все мы в этой комнате слышим, что вместительный желудок человека, сидящего посередине, начинает урчать. И человек с урчащим желудком, словно дождавшись ключевого слова «сердце», поднимается во весь рост. Остальные тоже вскакивают. Становятся по стойке «мирно». Замирают. «Это их самый главный!» – смутно доходит до меня.

Размеренным шагом он выходит из комнаты. Под мышкой у него зажата папка с надписью «*Ministerul de Securitate*», которую сотрудники поднесли ему со стола. Никто не смотрит ему вслед, никто не обменивается взглядами. Они стоят неподвижно. Они молчат.

– Ты как следует подумаешь, вспомнишь и изложишь все,

что знаешь об этой опасной личности, об этом агенте империализма.

Подполковник заглядывает в какой-то лист бумаги и без ошибок пишет: «Энцо Путер». Хлопает в ладоши. Появляется солдат.

– Встать, – скрипит офицер.

Все как по команде начинают пристально разглядывать меня. Я пытаюсь подняться, но не могу. Пытаюсь рывком сдвинуться с места, но тщетно. Ноги меня не слушаются. Они словно прикручены к полу. Колени точно налились свинцом. Присутствующие кивают.

Офицер приказывает караульному:

– Возьми его под мышки, помоги ему.

Тот повинуетя, и чувствуется, что поддерживать беспомощных заключенных ему приходилось уже не раз. Потом подает мне очки. Я заползаю во тьму. Марш вперед. Наконец раздается гроыханье запоров.

В камере спиной ко мне стоит маленький человечек. Во тьме он почти неразличим. Одежда на нем, кажется, старомодная. Он подает мне руку и тихо произносит:

– Здравствуйте! Меня зовут Розмарин, – и указывает на свой вылинявший берет. – Антон Розмарин из Темешвара. Он склоняется в поклоне.

– Только не говорите мне, давно ли вы здесь. Я больше не выдержу ни часа.

Вытянувшись на койке, я по виду тюфяка устанавливаю, что это другая камера, не та, где я ночевал.

– Лежать нельзя, – мягко произносит он.

– Они должны меня выпустить. Это какое-то недоразумение.

– Так поначалу мы все думаем, бедняги, – шепчет он. – А сейчас давай-ка вставай. Если он из коридора увидит, что ты лежишь, то накажет, будешь в углу стоять на одной ноге; это называется «аист». Я тут все на зубок знаю, уж будь благонадежен. Я тут уже шесть лет сижу.

– Шесть лет? Что, здесь, в этой дыре?

– В этой камере всего семь месяцев. Но один.

Я натягиваю шинель на лицо и со слезами в голосе произношу:

– Ничего не хочу знать. Ни «сколько». Ни «за что». Ничего, совсем ничего. Сделайте милость, пощадите меня.

Он отводит шинель с моего лица и говорит:

– Но меня скоро освободят, последние-то два годочка скостят. Как приду домой, – он сглатывает, отирает с губ слюну, единственное, что поблескивает на его тускло-матовом лице, – войду в кухню и скажу: «Мицци, – скажу я, – вот и я, я есть хочу, подай мне брынзу с луком!» – При этом ребром левой ладони он рубит воздух. – Вот такого лука я хочу! Нарезанного тонко-тонко, *finom*<sup>18</sup>! А сыр чтобы был кубиками. И только потом спрошу: «А дети где? Где Эмма и Тони?»

---

<sup>18</sup> Здесь: тонко (венг.).

Они меня все одно не узнают. А уж потом уложу Мицци на кухонный стол, на разделочную доску, и пошло-поехало!

Пауза. Он шепчет:

– Батюшки, вы редкая птица. *Gardian*<sup>19</sup> к нам заглянул и долго-долго смотрел, но не заорал.

– Откуда вы знаете? Вы же стояли спиной к двери.

– Своими ушами слышал. А тебя-то за что?

– Да ни за что, правда, ни за что!

– Нда, все о себе говорят, что они-де невинные овечки, ни дать ни взять девица перед тем, как в исповедальню проскользнет. Шпион вроде меня тоже в это верит.

Шпион! До сего часа в моих глазах это было мифическое существо из романов и фильмов, и я и мне подобные не подвергались опасности встретиться с ним во плоти. И вот он предстал передо мной, хотя и невзрачный, лишенный всякого блеска или демонизма, но взаправдашний, настоящий.

Я стал уверять его:

– Я не совершал ничего противозаконного. Абсолютно ничего! Пусть я и трансильванский саксонец, я выступаю за социализм. – И поспешно, срывающимся голосом, продолжаю, говорю и говорю, словно надеюсь, что мои желания станут реальностью.

– Так и бывает, когда в Секуритате попадут, все сразу делается святее папы римского. Все отбрасывают прошлое, ни дать ни взять ящерица – свой хвост, если на него наступят.

---

<sup>19</sup> Надзиратель, охранник (рум.).

– А еще я болен, страдаю воспалением души. Навязчивые идеи одолевают меня, как приступы лихорадки. Пребывание в тюрьме для меня гибель, я здесь не выдержу! Врачи категорически запретили мне находиться в тесных, темных помещениях...

– Здесь никто не выдерживает, – перебивает меня Розмарин, – здесь для всех гибель. Мне врачи тоже запретили сидеть в четырех стенах. И с тех пор душа моя горит в огне.

– Как можно больше гулять по широким лугам, – произношу я, уставившись в беленую стену перед собой, – вот что мне рекомендовали врачи. По лугам с маргаритками и первоцветами, а вокруг еловые леса, шелест вершин. И без всяких конфликтных ситуаций. И вообще, жизнь мне в сущности надоела.

– Ну, значит, тебе тут самое место.

Ему интересно, как прошел мой допрос.

– Что они у тебя выпытывали?

– Ничего. Ничего особенного. Просто болтали. То есть только двое из них, остальные сидели, как истуканы, и все. Под конец стали спрашивать меня о ком-то, кого я почти не знаю.

– Это ты так думаешь! С иноземцами лучше не связываться.

«С иноземцами»! Какое странное слово. Потом Розмарин спрашивает, какие из себя были те двое, что вели допрос.

– Один был в униформе с белесыми бровями, другой в

штатском, такой уютный полноватый брюнет. Может быть, он у них старший по званию.

– Тот, что руки складывает над ширинкой, как в церкви на молитве? Батюшки, значит, натворили вы немало.

Оказывается, на утреннем приеме присутствовал сам глава Секуритате по фамилии Крэчун. Еще тот фрукт! Он решает, бить ли тебя и, если бить, то как. Но того, кто не прикидывается дурачком, трогать не будут. Оленей и косуль, которые бродят во дворе и в саду, он любит, как малых деток. Если с ними что-нибудь случится, кому-то точно не поздоровится, Боже сохрани! Он, говорят, начинал шахтером в Петрошене, а дослужился до полковника.

– Величает себя *Director General*<sup>20</sup> Секуритате Сталинского региона.

Все это Розмарин отбарабанивает быстро, без пауз, словно молится, перебирая четки.

– А тот, что с белесыми бровями, похожий на курицу, это старший следователь Александреску. Много чести для такого юнца, как вы.

– А откуда это все вам известно в таких подробностях?

– Ах, я старый лис, а здесь поневоле все узнаешь. А под конец тебя уже ноги не держали?

– Да, – с удивлением подтверждаю я. – Меня словно парализовало.

– Точно. Тут так и бывает, без этого не обходится.

---

<sup>20</sup> Здесь: председатель (рум.).

По-видимому, он удовлетворен услышанным и начинает семенить по камере туда-сюда: пять шагов в одну сторону, пять в другую.

– Пройду тысячу тридцать шагов, а потом и обед.

– Откуда вы знаете?

Он тычет указательным пальцем в окошко под потолком:

– Оттуда. Это мои солнечные часы.

Он-де определяет время по тому, насколько ярко освещено пуленепробиваемое стекло. Обед подают на двадцать шагов раньше. Розмарин несколько раз прерывал свои хождения и останавливался в задумчивости. Или он обсчитался? Из соседних камер через равномерные промежутки доносятся грохот и визг колес. Гремит посуда. Розмарин прислушивается, наострив большие, безобразные уши:

– Там всего шесть.

– Шесть чего?

– Шестеро заключенных.

– Не может быть, там вшестером даже дышать нельзя!

– Да ладно, – снисходительно тянет он, – там и тринадцать спокойно поместятся, и будут они себе много лет подряд дышать, стоять, сидеть, спать, бздеть, мочиться. А рядом с нами один.

– В одиночке? – испуганно спрашиваю я.

– Один всегда в одиночке.

Тут надзиратель с венгерским акцентом на плохом румынском приказывает: «*Linierea!*» – Построиться!

– Этот *gardian* – мадьяр. Мы его прозвали *Păsărilă* – Птицелов, – он всегда копается, ни дать ни взять птицелов. Он шутить не любит.

Кормушка открывается. Появляются усы, раздается команда: «*Linierea!*» Розмарин принимает у него из рук две жестяных миски с картофельным супом, я беру две жестяные тарелки с кучкой капусты на каждой.

– Вечером будет перловка или бобы.

Я бы тоже мог это предсказать.

Я быстро расправляюсь с первым и вторым. Розмарин не торопится. Он сгребает тушеную капусту в суп, крошит туда хлеб и начинает жевать, медленно, старательно, без передышки перемалывая пищу. Наконец он проглатывает эту кашу, словно с болью в сердце прощаясь с кем-то из близких, затем еще раз отрыгивает из глотки, устраивает себе десерт и, вздохнув, окончательно расстаётся со съеденным. Перед обедом он снял берет и перекрестился. Лысина у него высохшая, матово-тусклая, даже не поблескивает.

– Все, – говорит он, собирает кончиком языка последние капли и крошки с губ, отирает рот и дочиста вылизывает влажную тыльную сторону ладони. Снова крестит лицо и грудь, бормочет что-то и надевает берет. Отщипывает крохотные кусочки от оставшегося хлеба. Наклоняется к батарее и рассыпает их по полу: «Для мышей!» Когда мы возвращаем посуду, воду в наши эмалированные кружки наливает женская рука.

– Это цыганка, – объявляет Розмарин, – ее зовут Фюш-Фюш.

– Как?

– Фюш-Фюш. Ты что, не слышишь, как на ней юбки шуршат?

– А откуда вы знаете, что она цыганка?

– А ты на руку ее посмотри. Смуглая, как шоколад. Ну, все!

Он, как предписано, садится в ногах железной койки, а я ложусь на свою. Надзиратель заглядывает в глазок, долго не сводит с меня глаз. Открывает кормушку, просовывает усы в камеру, его крючковатый нос подрагивает. Он вращает глазами. Я не двигаюсь с места. Не сказав ни слова, он исчезает.

– Это ему не по нутру. Все, а теперь у нас свободное время.

Розмарин поясняет мне, что по воскресеньям здесь не работают. Мой утренний допрос – исключение:

– Никто нам до ужина мешать не будет.

Жалко бедного Птицелова, он ведь тоже в тюрьме сидит. Но сидит-то в одиночке! Не то, что мы, в изысканной компании. Ему и поговорить не с кем.

– Бедняга, – вздыхает Розмарин.

Однако на сей раз он ошибся. Безмятежная тишина с пронзительным звоном раскалывается на тысячу осколков: дверь распаивается, Розмарин беззвучно растворяется в полумраке в глубине камеры. Входит невысокий офицер, с уси-

ками, в сапогах на высоких каблуках. Отскакивает, заметив, что я лежу на койке, командует: «Встать!» Я не повинуюсь. Он различает в полутьме Розмарина, замершего неподвижно, лицом к стене, и нападает на него с тыла, приказывая: «Извольте повернуться и разглядить свой тюфяк, а то он похож на лодку из зоопарка в Германштадте». Потом он сует мне в руки лист бумаги и карандаш.

– Запиши все, что обещал сегодня!

Кладет на откидной столик книгу. И уходит.

– Книга, – констатирует Розмарин, – батюшки, я смотрю, с вами не соскучишься. Книжка-то немецкая. Травен: «Восстание повешенных». Издательство «Ауфбау». Просто чудо какое-то, глазам своим не верю.

Он озабоченно добавляет:

– Станьте-ка к столу да напишите все-все, даже чего не было.

– Я не против режима.

– И все-таки изложите во всех подробностях, как вы против этого режима организовали заговор. Они от других еще больше узнают. Но, если все напишете, вам же лучше будет.

– Только бы прочь, прочь отсюда! В среду я буду похвально перед моими студентами в Клаузенбурге: «Кто не с нами, тот против нас».

– Значит, в будущем году! – Он беззвучно смеется, как предписывают правила на стене. Потом он зачарованно гладит коричневый тканевый переплет книги:

– Знаете, кто здесь ваш злейший враг?

– У меня здесь нет врагов.

– Это не Секуритате. Это время, чтоб его. Если это вы убиваете время, а не оно вас поглощает, значит, вам тут будет неплохо. Можно есть, спать, бездельничать, и все бесплатно. Я старый лис, мне ли не знать, где собака зарыта. А заметили, какой подполковник-то нервный? Ни минуты на месте не усидит. Вечно выходит из себя. Все боится, как бы с нами не случилось чего, бедняга.

– Бедняга, – недоуменно повторяю я.

– Точно, их время – не наше.

Это само собой разумеется. А вот если наоборот? Об этом стоит поразмыслить. Наше время – не их время. Вопрос в том, существует ли такая временная раковинка, эдакий улиточный домик, куда можно проскользнуть и куда они за тобой не проберутся?

– Они боятся еще больше, чем мы, – продолжает Розмарин.

– Боятся? – пораженно переспрашиваю я. – Чего?

– Что их арестуют и посадят сюда. Нас-то больше уже под замок не посадишь, мы и так под замком. Вы еще это оцените!

– Я тут никогда ничего не оценю.

– Да-да, – откликается он, – вам неважно, все думаете, как бы отсюда прочь, торопитесь. Но, как говорится, торопись не спеша. Разве не видите, как расточительно они обра-

щаются с нашим временем? На чем бишь мы остановились? Да, с одним не поспоришь: кто на свободе, еще может попасть сюда, за решетку, каждого, даже самого большого начальника могут посадить. Ну, вот, например, как в Аюде было<sup>21</sup>: однажды открывается дверь, и кто заходит? Комендант Цайденской тюрьмы. Обрит наголо, в полосатой робе, словно арестант. Вот это номер, скажу я вам! Но слушайте дальше.

И я слушаю, как подобная судьба постигла и одну надзирательницу. Обоих, и коменданта, и надзирательницу, обвинили в «пособничестве классовым врагам». А дело все в том, что комендант принял в подарок от жены одного заключенного персидский ковер, а надзирательница передала беременной арестантке килограмм сахара.

– Но это ведь не одно и то же.

– Все едино. Большевики тут разбираться не будут. Оба вступили в сговор с классовым врагом.

Розмарин проводит меня по комнате ужасов, расписывая всевозможные прегрешения, совершаемые высоким начальством вплоть до министра.

– Да, – говорю я, – мы такое изучали на лекциях по марксизму: левый уклон, правый уклон. Кто-то недостаточно партиен, кто-то недостаточно самокритичен, кто-то слишком радикален или анархичен. Кто-то недостаточно бдителен: увлекается устаревшими идеями, ложными принципа-

---

<sup>21</sup> Аюд – городок в Трансильвании. Немецкое название – Страсбург-на-Миреше.

ми, буржуазными чувствами.

– Ну, вот, смотрите, мы со стариной Марксом едины. И потому-то они вечно боятся: начальника, коллег, даже собственных детей. За каждым из них следят.

А затем он перечисляет страдания, которые выпадают на долю сотрудников Секуритате: семьи нет, происходить им лучше из сиротского приюта, друзей нет, романы заводить нельзя, с соседями по душам не поболтаешь.

– А живут-то они как! Все скопом, в одном многоквартирном доме!

Товарищ слева – твой враг, сосед напротив на тебя стучит. И ни минуты нельзя побыть наедине, вечно нужно доносить в Центр, где ты находишься в данный момент:

– Даже если сидишь в ванне, одним словом, собачья жизнь, хуже, чем в преисподней, там ведь Скараоцкий, главный черт, иногда спит, или хоть глаза закрывает, или отлучается куда-то... А им хуже, чем нам здесь.

– Бедняги, – вставляю я.

– А еще они боятся народа. У них после Будапешта полные штаны. Там кагэбэшников за язык подвешивали, и даже головой вниз. А ведь в конце концов товарищи офицеры и надзиратели получают третий сапог.

– А это что значит?

– А это, как говорят у нас в Банате без всяких околичностей, пинок под зад. Ведь их время работает против них, – торжественно произносит Розмарин, – а наше время – на нас.

И они это знают.

– Вы так себя ведете, господин Розмарин, будто сидеть здесь – невесть какое счастье.

– Так и есть. Мы в тюрьме свободные. А те? Даже Новый год и масленицу и то друг с другом празднуют. Здесь, за колючей проволокой и высокими стенами.

– Ужас, – вздыхаю я в растерянности.

– Я тут все знаю как свои пять пальцев. Но сейчас от всех этих мыслей и пустой болтовни у меня просто голова кругом идет. Напишите все, что они требуют, – еще раз напоминает он мне.

Я становлюсь за столик, привинченный к стене, и записываю три предложения, меньше, чем мне известно. Что Энцо Путер – сторонник Восточного блока. Что он послал поздравительную телеграмму товарищу Сталину. Что он отнял у меня подругу.

Розмарин читает. Кажется, он недоволен и укоризненно глядит на меня, лицо его выделяется в полумраке бледным пятном. Но рта не открывает. За это я рассказываю ему историю Энцо Путера и моей подруги Аннемари, как будто он не мой сокамерник, а глубокомысленный рабочий из темешварского квартала Фрателиа и я решил с ним, случайным знакомым, поделиться сокровенным в каком-нибудь кабаке. Он понимает, о чем речь. Уверяет, что тоже такое пережил: «Радуйтесь, что избавились от этой козы! Она вам не подходила. Что ж! Я ложусь спать».

Садится и засыпает. Странно, он назвал Аннемари Шён-мунд козой, а меня это обидело.

Я открываю книгу и подношу ее к самой лампе. Интенсивность света увеличивается пропорционально квадрату расстояния до источника света: в два раза ближе, в четыре раза светлее. В тусклом освещении я читаю возмутительный рассказ о восстании повешенных. Неужели возможно, чтобы врач бросил умирать тяжелобольную женщину и она скончалась у него на глазах, только потому, что не сошелся в цене с нищими крестьянами? И более того, что он даже требует плату за хранение ее тела у себя во дворе по часам, вплоть до минут, пока ее близкие не раздобудут гроб и не унесут свою покойную мать?

Я с облегчением констатирую: подобное у нас совершенно невозможно. Ведь первый секретарь Рабочей партии недавно на заседании ЦК в Бухаресте пригрозил: он-де велит всех врачей, которые забыли, что они слуги рабочего класса и не более, прогнать по главным улицам с кольцом в носу и с табличкой на шее. Страждущий рабочий класс такие угрозы любит.

Розмарин в испуге просыпается. Он дремал сидя, слегка покачивая головой, опустив локти на колени. Он шепчет: «Гитлер был для меня богом. Но это прошло!» Я затаиваюсь под шинелью и веду переговоры с Розмарином только сквозь входное отверстие пули на рукаве. Он говорит: «Они кого-то ведут в ножных кандалах. Нашего соседа. Ага, в уборную

ведут! У него, поди, от страха медвежья болезнь началась». И точно, из коридора доносятся новые звуки: звон и шарканье, шарканье и звон. Розмарин, хорошо разбирающийся в подобных вещах, заключает: «В ножных кандалах, закованный. Этому точно двадцать лет дали, а то и МСВ».

– Что еще за МСВ?

– *Muncă silnică pe viață* – пожизненная каторга, а то бы они здесь-то кандалы с него сняли. Не пугайтесь. Это только так называется. Он ведь на самом деле каторгу-то отбывать не будет, только до конца дней своих просидит в камере один-одинешенек. А сейчас встаньте-ка и подвигайтесь. Чтобы место в желудке освободить для ужина.

Я поднимаюсь с койки и начинаю ходить туда-сюда. С тех пор как тусклая лампа за проволочной решеткой стала отбрасывать на стены колеблющийся, дрожащий хоровод теней, камера кажется еще теснее.

Курсируя между железными койками, три с половиной шага туда, три шага обратно, я внезапно ощущаю, как у меня перехватывает дыхание. Я судорожно хватаю ртом воздух. Легкие извергаются из грудной клетки и прилипают к оконной решетке. Сердце бешено стучит. Я пошатываюсь. Одновременно мое тело увеличивается, достигая чудовищных размеров, я бьюсь руками и ногами о стены. Срываю с себя рубашку. «Я задыхаюсь, – хриплю я, – воздуха». Сжатыми кулаками я приклеиваюсь к стене и стараюсь ее оттолкнуть. И не свожу вылезавших из орбит глаз с Розмарина.

Тот, примостившись на краешке койки, глядит на меня.

– Да, – говорит он безмятежно, – все так и должно быть.

У вас лицо красное как у рака. Вам кажется, что вы сейчас раздуетесь, как воздушный шарик, и лопнете, как проколота-тая шина. Или чувствуете, что сейчас на вас обрушатся стены, что они вас здесь раздавят, – да мало ли что кажется. Это называется тюремное помешательство. Поначалу от него все страдают, но с годами оно проходит. Хорошо, что сейчас дежурит Апэлинэ, он добродушный, потому-то мы его Тихой заводью и прозвали. Я его попрошу окошко наверху открыть, вот вам и будет воздуха побольше.

Но я слышу только, как кровь бурлит у меня в ушах. «Воздух, пространство, горы, – я едва перевожу дыхание, – длинные аллеи, луга с маргаритками, вершины Крэенштайна, Полярная звезда».

Дежурный Апэлинэ не только распахивает окошко под толком, впуская в камеру каскады холодного воздуха. Он оставляет открытой дверь в камеру, и мое чудовищно распухшее тело перетекает в коридор. Пока Розмарин обмахивает меня своим беретом, солдат в войлочных туфлях уютно располагается рядом со мной на койке. Он рассказывает, как страшно было под Сталинградом и как хорошо здесь, в тюрьме. Он поит меня сиропом, отдающим бромом, вливает в меня почти полбутылки. Я возвращаюсь в свое тело, заползаю под шинель и засыпаю.

Спустя два дня мы с Розмарином отмечаем Новый год, каждый сам по себе, наедине со своими мыслями. В десять, как обычно, раздаётся команда: «Погасить свет!» Мы ложимся на койки, лицом кверху, в глаза нам бьёт свет лампочки над дверью, которую никто не гасит, мы вытягиваем руки вверх конских попон, как послушные дети, и закрываем глаза. Мы не спим. Сквозь неплотно прикрытое окно мы стараемся уловить аромат ночи. Когда наступает полночь, мы ничего друг другу не желаем. Не поздравляем друг друга с Новым годом. Ночью разговаривать запрещено.

Я думаю не о прошедшем годе, не о наступающем годе, а о драме Томаса Манна «Фьоренца». Князь Флоренции Лоренцо Медичи Великолепный был лишен одного органа чувств: нет, не зрения, не слуха, не способности производить потомство. Он не ощущал запахов. Тем самым он редко мог вкушать жизненные наслаждения. Но не чувствовал и гнусного смрада, так и вопиющего к небесам. От него ускользал аромат женщин. Ему, калеке, оставалась одна возлюбленная – Флоренция. Тем не менее он давал шумные пиры в своем дворце и всячески тешил свой взор и свои уши. Однако, когда княжеские увеселения стихали и во дворце ненадолго воцарялась тишина, до него доносился звон цепей – последний знак присутствия пленников в подземных казематах.

Розмарин прав. Рядом с нами они отмечают приход нового года, праздник в честь Деда Мороза, отдают дань языческой власти зимы, но не забывают и про христианскую елоч-

ку. Пируют и веселятся они за высокими стенами и железными дверями, вот такое у них Богом забытое Рождество.

Мы притворяемся, будто спим. От грома музыки дрожат решетки. Раскаты оглушительного мужского смеха сотрясают стены камеры. Женские вопли отзываются щекоткой, словно тоненькими иголочками проникая под кожу. Доносятся обрывки песен. Сначала «Интернационал», потом бухарестские танго, в промежутках румынские романсы, ровно в полночь государственный гимн. Внезапно адский шум замирает. «Сейчас они будут слушать выступление Дежа», – шепчет Розмарин. Потом хлопают пробки от шампанского, их заглушает звон большого колокола Черной церкви. Наступил новый год.

После этого залихватская музыка уже не умолкает. От огненной хоры до русской «Калинки» все принимается на «ура».

Я лежу без сна. «Фьоренца», – восторженно произношу я. Они пируют, пленники гремят цепями. Меня охватывает дрожь. Приоткрывается другое время и объемлет меня. На несколько минут я выпутываюсь из сети страха, сокрушаю стены ужаса и наслаждаюсь волшебным чувством свободы.

Я резко поворачиваюсь к стене и натягиваю на голову одеяло. Никто не решается меня будить.

С Новым годом надзиратель нас не поздравляет. Забирая нас на утреннюю помывку, не желает долгих лет жизни: «*La mulți ani!*» Да и нам, Розмарину и мне, особо и желать-то

нечего. Меня удивляет, что с позавчерашнего дня мы семейным за надзирателем вдвоем. Я прочно прикован к Розмарину, а он вынужден держать правую руку у меня на плече. В свободной руке у него покачивается туалетное ведро. Солдата мы прозвали Локомотивом, а все это расположение Розмарин именует «поездом с укороченным составом». Роскошь в чистом виде: «Только представьте себе, что если бы нас было тринадцать и всех сразу бы в клозет загнали? По трое дристали бы в одно очко. А нам сегодня повезло. Нас всего двое, на каждого по унитазу. Изящно!» Точно: каждый по отдельности умывается, опорожняет кишечник, подмывается, полощет рот. Пусть даже в страшной спешке. Зато не остается времени стесняться соседа.

В камере ни один из нас не склонен был ломать себе голову, что принесет нам новый год. Нам и воспоминаний хватит. Мы сидим друг против друга, каждый на своем тюфяке. Похоже на поездку поездом в первом классе. Пока ждем завтрака. А потом... Сначала завтрак.

– Здесь-то у нас предвариловка, а вот в самой тюрьме, – начинает Розмарин, – там посреди камеры стоит деревянный ушат, и все, когда пожелают, справляют туда нужду. И большую, и малую, на здоровьице. Но есть там одна заковыка: чаще всего камеру быстро набивают под завязку. Чан переполняется, дерьмо выливается на пол, распространяется в камере целым озером. Людей-то там сколько сидит! Заключение в ножных кандалах своими цепями разносят зловонную

грязь по всей камере днем и ночью, даже койки пачкают. Да уж, радости мало!

Теперь он перескакивает на Германштадт.

– Прекрасный трансильванский город, – замечает он, – жалко только, всего разок там и побывал. Настоящий саксонский город: старина, история! И вообще, трансильванские саксонцы восемьсот лет только и делали, что кое-как лепили свою историю. А вот швабы, как только пришли в Банат двести лет тому назад, так сразу поплевали на руки, осушили болота, построили дома и вымыли окна. В германштадтском зоопарке был крокодил по имени Франц Иосиф. И мертвая мумия Эльвира.

– Я там часто бывал с дедушкой, – откликаюсь я. – Когда небо заволакивало тучами и гремел гром, он говорил: «Это Святой Петр с апостолами играет в кегли».

– А рыбы-то там какие были, ни стыда и ни совести! Ели одни рогалики. Даже после войны, когда все голодали, когда люди и крохотному кусочку мамалыги были рады. Вот ведь избалованные твари!

– Вы правы, – соглашаюсь я. – Мы с дедушкой рыбам только рогалики крошили.

Рыбы бросались на сдобные крошки, вся поверхность воды покрывалась их открытыми ротиками. Я решил бросить рогалик тем, кому не повезло и кто был слишком далеко от берега. Пока я, как другие дети, бешено крутился на одном месте, случилось что-то необъяснимое: рогалик не оторвал-

ся от моей ладони, а скорее увлек меня за собой. Я потерял равновесие и упал в пруд. Когда надо мной сомкнулась водная гладь, мои легкие раздулись так, что готовы были вот-вот лопнуть...

– Это называется «тюремное помешательство», – добавляет Розмарин. – Вы уже это все проходили. Скоро станете старым лисом.

Словно издалека я услышал голос дедушки: «*Finita la commedia!*» – и почувствовал, как он рукоятью своей трости пытается меня подцепить. «*Finita la commedia!*»

– И как же вы не утонули?

– Меня спасли храбрые румыны.

– Да, румын, он вроде кошки. Всегда хоть пядь твердой земли под пятой найдет.

– У моего деда в Триесте был магазин южных фруктов. Когда бора дула с гор по направлению к гавани, вдоль тротуаров приходилось натягивать веревки, чтобы порывы ветра не унесли людей с крутых улочек в море, уж о шляпах и собаках я и не говорю. Выходишь утром за угол купить рогалик к завтраку, а пять минут спустя уже погиб.

– Подумаешь, фифы какие, эти ваши германштадтские рыбы. Только рогалики им подавай!

Как бы ожесточенно я ни возражал, Розмарин непременно хочет поведать мне о своих тайных делишках. Уж лучше бы рассказал о своем аресте. Это сугубо индивидуальная операция, каждый ее переживает по-своему. Потом судьбы у

всех складываются совершенно одинаково: встаешь, ждешь, спишь, ждешь – и так много лет.

«Почему бы и нет?» Вот как, коротко говоря, все происходило: он предпринял безобидную поездку за дефицитом из Арада в Темешвар осенью тысяча девятьсот пятьдесят первого. Сидел в купе с двумя любезными, словоохотливыми господами, они угощали его дорогими сигаретами – «Красной виргинией», а когда приехали, помогли даже вынести на перрон тяжелую сумку, набитую картошкой, кукурузной мукой для мамалыги, беконом, брынзой – все для деток и Мицци. И что потом делают благородные господа? Заталкивают его в уборную, заклеивают ему рот пластырем, заковывают в наручники, надевают на голову мешок, и все это за какие-то секунды, он и не раскумекал, когда лицемеры сбросили маски. И вот уже ему командуют: «Считай ступеньки, раз, два, три». Все, теперь прости-прощай Мицци на кухонном столе!

В августе сорок четвертого, после того как Румыния отреклась от бывших союзников и вступила в антигитлеровскую коалицию, Розмарин, бывший эсэсовец, вошел в немецкую шпионскую сеть. Информацию о передвижениях русских и румынских войск из Темешвара в Вену передавали по радио.

С горящими глазами он живописует мне предводителя шпионской группы, как и он, банатского шваба. Имя он предпочитает не называть: «Меньше знаешь, крепче спишь!» Настоящий витязь из древнегерманских сказаний,

сорвиголова, белокурая бестия, плечистый, высокий, ни дать ни взять истинно немецкий дуб, а темперамент, как у трех мадьярок вместе взятых! В Кронштадте он забаррикадировался в хижине на опушке леса. Его выследили первым. Но он-то уж не дал загнать себя в клозет. Наоборот, сорвал со стены две шпаги и стал защищаться, и продолжал наносить удары, даже когда бандиты сбили его с ног. Одному отрубил ухо, а другому мизинец. В России с ним быстро расправились, без церемоний. «Великий герой. Жаль его. Косточки его лежат где-то в Сибири на нетающем снегу, выбеливает их холодное солнце».

– А откуда вы знаете, что его нет в живых?

– Это мне сказал подполковник Александреску, ну, тот, что вас допрашивал, с белесыми бровями, как у курицы. А вот меня они только через пять лет сцапали, щеголи из поезда, – гордо добавляет он. – Эх, жаль брынзы и бекона!

Николаус Штурм, художник из Танненау! «Наш великий немецкий герой», как величала его тетя Мали, жившая от него через две улицы. Он эффектно исчез несколько лет тому назад и таинственным образом спустя годы объявился снова. Не проронив ни словечка о том, где был.

Так вот, значит, какова была разгадка: шпионаж, Сибирь, лагерь! Вот потому-то у него такие бегающие, беспокойные глаза, вечно уставленные долу. Потому-то и сюжеты картин он выбирает такие жуткие и зловещие: солдат, повисших на колючей проволоке, лица идущих в атаку, с разверсты-

ми в крике ртами и с обезумевшими глазами, черепа, выкатывающиеся из солдатских касок, скелеты, обвивающие друг друга, словно в страстных объятиях. Война не должна повториться! Жестокие рисунки, дозволенные цензурой. Николаус Штурм, знаменитый художник: живет на вилле на опушке леса в Танненау, ездит на русской «победе». В детстве он разрешал нам иногда потрогать мечи и шпаги, развешанные у него на стенах.

– Николаус Штурм, – вслух произношу я. – Он живет здесь в Танненау, он добился успеха в обществе. Он вернулся домой уже давно, после восьмилетнего отсутствия, я думаю, но никогда не говорит о том, где побывал...

– Что ты сказал? – серое лицо Розмарина делается пепельно-бледным. Он пошатывается на краешке своей койке. А потом кувыркком летит назад, ударяясь затылком о стену. Лежит и не шевелится. И только когда мы с надзирателем прыскаем ему на лицо водой иотираем область сердца влажным платком, он открывает глаза. «Всего-то восемь лет, великий вождь. И я восемь лет, маленькая мышка. И он свободен, господин Ник Штурм!» – бессвязно лепечет он.

Но времени горевать не остается. По коридору грохочут сапоги. Гремят засовы. Розмарин ускользает в полутьму. Я наблюдаю за происходящим.

– Как тебя зовут? – спрашивает меня солдат. Я называю свое имя. – А тебя?

– Розмарин.

– На выход, с вещами!

Неторопливо завязывая узелок, Розмарин шепчет мне: «Вы, студенты, хотели воздух испортить, но только обгадились». Его серое лицо преображается: «Меня точно отпустят!» В жестяных очках он напоминает крота из детских книжек Иды Бохатта<sup>22</sup>. На прощание он протягивает мне руку: «Расскажите им все, что знаете! Здесь действует правило “спасайся, кто может”! Помните господина Ника Штурма!»

– Говорите по-румынски, – велит солдат в домашних тапочках.

– Это еще почему? – возражает Розмарин по-немецки. – На нашем священном родном языке мы имеем право петь и говорить, сколько нашей душевке угодно. Так значится в Конституции нашей народной республики. – И уходя добавляет: – Вы тоже забудете священный родной язык, а если не побережете, то и вообще говорить разучитесь. Адье!

И Антон Розмарин семенит прочь из камеры, наклонив голову вперед и прислушиваясь, взяв под руку дежурного солдата. Он ушел. Мое жилище опустело. Теперь я могу плакать. Могу молиться. Я остался в одиночестве.

---

<sup>22</sup> Ида Бохатта (1900–1992) – австрийская детская писательница и художница.

В течение нескольких дней после того, как Розмарина увели, из-под решетчатой коробки батареи выкатываются мыши, глазки-бусинки у них точь-в-точь как у моего исчезнувшего сокамерника. Зверьки набрасываются на крошки, которыми я их приманиваю, обращаются в бегство, вновь приближаются. Но их общество не утешает.

Неужели спустя какую-нибудь неделю у меня уже появились воспоминания об этом месте?

Об Антоне Розмарине, само собой. Этим воспоминаниям я предавался бесчисленное множество раз, как только ни обдумывал их, как только ни анализировал, часами, даже целыми днями, превратив это занятие в типичную причуду заключенного.

Проиграв в памяти разговоры с ним, я пришел к выводу, что он мне лгал. Ну, например, почему он сразу же обратился ко мне по-немецки, еще до того, как я открыл рот? Откуда он знал, что я пришел с допроса? А еще до того, как я упомянул гражданина Западной Германии Энцо Путера, он стал предупреждать меня, что «иноземцев» особенно жестоко преследуют, хотя тогда я обратил внимание только на странное словечко «иноземец». Да и не мог он просидеть в одиночной камере семь месяцев.

Это предположение перерастает в уверенность, когда я

начинаю размышлять о том, что он не произнес. Меня осе-  
нило: в отличие от моих первых клаузенбургских сокамер-  
ников, он не набросился на меня с расспросами, не стал жад-  
но выведывать, что происходит на свободе, не захотел узнать  
последние новости, и будет ли амнистия, и что американцы,  
и какие нынче цены на масло, и какие марки сигарет есть  
в продаже, и светит ли еще солнце, и по-прежнему ли неко-  
торые влюбленные целуются на морозе. Он не задавал мне  
никаких вопросов. Никаких... Значит, и так все знал, и так  
был обо всем осведомлен, хитрый лис, серая мышка. Добрый  
Розмарин. Мне его не хватает. Меня знобит. У меня уже по-  
явились воспоминания об этом месте, а ведь прошла всего  
неделя.

Не успела стальная дверь в коридоре с грохотом захлоп-  
нуться за мной, – идет девятый день моего пребывания в  
КПЗ, – как я понимаю: меня не выпускают. Ведь солдат,  
мой жезл и мой посох<sup>23</sup>, приказывает: «Отсчитай одинна-  
дцать шагов вперед!» Меня подталкивают, меня поворачи-  
вают. Наконец раздается команда: «Стой!» Давление света  
на мои укрытые глаза резко возрастает. Сейчас кто-то навер-  
няка скажет: «Снять очки!»

Кто-то говорит: «Снимите очки!» И к тому же на моем  
родном языке.

---

<sup>23</sup> Псалом 22:4: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня».

– Сядьте за столик у двери.

Я сажусь. Прищуриваюсь. Глазам больно от яркого света. Куда смотреть? Вдали, за зарешеченным окном, дробится вид на гору Цинненберг.

Я испуганно взглянул на человека за письменным столом и тотчас же отвел глаза. Человек с изжелта-бледной кожей, черноволосый. Смотреть ему в глаза я не решаюсь. Пятиконечная звезда на погонах (значит, он майор) лучится рождественским светом. На письменном столе лежат перчатки не цвета хаки, как униформа, а серые, замшевые.

– Ну, и как у вас дела? Как настроение?

Какой странный вопрос. Как будто он сидит со мной в кафе. Я медлю, собираю все свое мужество и произношу:

– Я жду, когда вы меня освободите, господин майор.

– Какой у нас сегодня день?

– Понедельник, шестое января тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года. Послезавтра вечером я хотел бы открыть в Клаузенбурге заседание литературного кружка.

– Приятно это слышать.

– Это первое заседание в новом году. Я непременно должен на нем присутствовать.

– Правда? Когда мы впервые пригласили вас к себе, в эту комнату, неделю тому назад, в воскресенье... – кстати, какого числа это было?

– Это было двадцать девятого декабря, спустя день после того, как вы меня сюда привезли.

– Что ж, временную последовательность вы запоминаете отменно. Зря вы опасались провалов в памяти. Напротив, в этих обстоятельствах воспоминания набрасываются на вас, как полчища крыс. Кстати, о крысах, это животные, умеющие необычайно, фантастически изобретательно приспосабливаться к любым условиям... Но не будем отвлекаться. Вы должны радоваться, что здесь, в высших этажах Секуритате, мы приготовили для вас место катарсиса. Как бы вы описали катарсис?

Я вспоминаю, что в последнее время моя мама употребляла это слово, с трудом удерживаюсь от слез и произношу:

– Нравственное очищение посредством душевных потрясений.

– Правильно. Именно это мы и предлагаем. И даже лучше: посредством душевного потрясения. Одного потрясения. Кстати, как вам известно, сегодня и завтра у нас в стране отмечаются особые праздники, их любят и стар и мал. Хотя они и основаны на суеверии.

Шестое января – Боботязэ – почитаемый православный праздник Богоявления в память крещения Иисуса в реке Иордан. В этот день во времена королевства солдаты в одних подштанниках прыгали во все реки страны, даже в ледяную Алюту под Фогарашем. Пред ликом архиепископа в золотой митре, с пастырским посохом слоновой кости, окруженного православными священниками в парадных облачениях, на глазах у смиренных верующих они выуживали из реки Свя-

той Крест, и никто из них ни разу даже не чихнул и не кашлянул. В эти дни усердные пастыри спешили из дома в дом и благословляли жилища святой водой. На этой неделе не только окропляли освященной водой дома и избы, но и лили в глотки вино, не зная удержу. Ведь через день, седьмого января, праздновалась память Иоанна Крестителя – Сфэнту Йон – а значит, отмечались именины трех четвертей румын.

– Однако о другом: во время нашей первой встречи в этой комнате вы утверждали, что вам нужно немедленно вернуться в Клуж, чтобы лечь в клинику. Помните? А сейчас стремитесь на заседание литературного кружка.

– Конечно. Без меня ведь ничего не получится или пройдет плохо. Поэтому я хотел бы послезавтра вечером присутствовать на заседании.

– Тем более, что выступать будет Хуго Хюгель. Бойкий молодой автор с непомерными амбициями. К тому же рекордсмен, как он любит себя именовать. Так и видно настоящего спортсмена во всем. Даже в творчестве. Написал «Крысиного короля и флейтиста», многозначительную аллегорию. Третий приз на литературном конкурсе в Бухаресте. Обошел ваш рассказ, нас это даже удивило. Кстати, газета «Новый путь» по-прежнему проявляет слишком большую субъективность, оценивая художественные произведения. Там забывают о разработанных социалистической теорией литературы критериях, строгих, как математические формулы.

И тут он задает вопрос, ради которого и затеял весь этот

спектакль, вопрос безусловно точный, как бросок циркового метателя ножей:

– А почему вы два раза подряд приглашали в свой клуб именно этого Хюгеля?

Меня беспокоит слово «клуб», в нем чувствуется скрытая угроза.

– А других заслуженных социалистических авторов до сегодняшнего дня и на порог не пускаете, например Андреаса Лиллина, Франца Либхардта, Иоганнеса Бульхардта, Пизца Шиндлера?

Действительно, почему? Я чуть было не ляпнул: «Потому что Хуго Хюгель непременно на этом настаивал», – но, следуя предостережению внутреннего голоса, ответил уклончиво:

– Так получилось.

– Видите ли, – поправляет меня майор, – у нас существуют определенные правила. На точно сформулированные вопросы мы хотели бы получить такие же ответы. Какого вы мнения о Хуго Хюгеле?

Самый обычный вопрос. Тем не менее я дам на него точно сформулированный ответ:

– Он редактор отдела культуры в кронштадтской, извините, сталинштадтской немецкой «Народной газете», простите, в немецкоязычном партийном листке Сталинского региона.

– Мы это знаем.

Мой старший собрат по ремеслу Хуго Хюгель был готов

вместе со мной отправиться в Сибирь. Вдохновившись идеями пастора Вортмана, я решил, что нам надо потребовать в Сибири область, где мы могли бы основать собственный автономный Социалистический Саксонский регион. В конце концов, нас, саксонцев, было немало, целых двести тысяч. «Дайте нам клочок земли, где мы сможем расселиться, и позвольте управлять им по собственному усмотрению. Мы, старые испытанные колонисты, превратим его в образцовый мир социалистической демократии и коллективного хозяйства». Так говорил я, а Хуго Хюгель с восторгом меня поддерживал: «Надо всегда ставить себе настолько высокие цели, чтобы и, поднявшись на цыпочки, не дотянуться!»

Но позвала нас не Сибирь, а Южная Болгария. Эта удивительная перспектива открылась перед нами совсем недавно. В Клаузенбурге изучал германистику Любен Таев, племянник премьер-министра Болгарии. И тайно влюбился в немецкую студентку. Для него это стало достаточным основанием, чтобы раз и навсегда окружить себя трансильванскими саксонцами, о чем он и прожужжал все уши своему высокопоставленному дядюшке. С недавних пор Элиза стала называть болгар «балканскими пруссаками». Может быть, потому, что Любен подолгу сидел у нее в кухне, не пытаясь вести умные беседы, да и вообще помалкивая. Он просто сидел часами, напоминая изъеденный временем и непогодой могильный камень, и глядел на нее двуцветными кошачьими глазами, а она тем временем читала наизусть Пушкина или

говорила с ним по-русски. Но все сходились на том, что тайной дамой его сердца она быть не хочет. Никогда не укроется она с ним ночью в Ботаническом саду, и дело не только в его пористой коже и плохих зубах...

– Вы вздыхаете, – говорит майор.

– Да, вздыхаю.

Он выходит из комнаты. Рядом со мной беззвучно вырастает точно из-под земли караульный и устремляет на меня печальный взгляд.

Майор возвращается, переодевшись в штатское. На нем темно-серый костюм с тонкими светлыми полосками, с широкими лацканами, с настоящими роговыми пуговицами. Может быть, он пойдет отсюда на день рождения к ребенку? Столь же прилично, даже буржуазно, выглядели мои отдаленные родственники, дядюшки, в Новый год или в воскресенье. Вот только красного платочка в нагрудном кармане не хватает. Новоиспеченный элегантный господин в штатском подходит к письменному столу, но не садится. Он берет свои замшевые перчатки, надевает и по-приятельски садится за мой столик. Я вынужден смотреть ему в глаза. И вынужден остерегаться, как бы он не пленил меня своим дружелюбием.

Он опирается на левый локоть, обхватив подбородок большим и указательным пальцами в перчатке. Правой рукой он занимает всю столешницу. Мы почти прикасаемся друг к другу, ведь руки мне убирать со стола запрещено. Но поджать кончики пальцев мне дозволяется, тем более, что

давно не стриженные ногти уже превратились в когти.

Из внутреннего кармана пиджака рукой в перчатке он достает небольшую книжечку и протягивает мне. Юлиус Фучик: «Репортаж с петлей на шее». Как ни странно, при этом он добавляет:

– Это произведение рекомендовал вам Арнольд Вортман, не так ли? Саксонцы величают его красным пастором. Он социалист, но не член партии. Вы не могли бы как-то пояснить эту разницу?

Точный это вопрос или теоретический? Я отвечаю:

– Не забудем, что пастор собрал в Элизабетштадте горстку пролетариев и всячески их опекал. Первого мая он не только вывел их на луг для проведения праздничных гуляний возле моста через Кокель, чтобы они вместе с румынскими, венгерскими, еврейскими и армянскими товарищами исполнили «Интернационал», а после этого вместе с ними пели, плясали, веселились, но и подвигнул их пройти маршем с красными флагами до самого Дворца юстиции на глазах у Сигуранцы и у вооруженных штыками жандармов. И это в то время, когда все мы искренне убаюкивали себя мыслью, что «у нас нет господ и рабов».

Неожиданно элегантный господин произносит:

– Ваш уважаемый пастор полагает, что при социализме все будут жить, как золотые рыбки в аквариуме. Блага так и посыплются с неба из десницы Господней вроде аквариумного корма. Нет-нет, нам придется поплевать на ладони – и

пошло-поехало, лес рубят, щепки летят, и не только слезы льются, но и кровь течет рекой.

Аквариум? Даже об этом известно господину, сидящему прямо передо мной. И все-таки какое обидное упрощение. Стерпеть ли такое оскорбление в адрес пастора Вортмана? Сколько раз в кабинете со сводчатым потолком я слушал, как он пытается убедить меня, что «всем труждающимся и обремененным»<sup>24</sup> на земном шаре нужно и можно помочь. На широком подоконнике поблескивал аквариум с забавными декоративными рыбками. За окном виднелся армянский собор с двумя башнями, украшенный таинственными письменами на загадочном языке, а еще дальше, в конце каштановой аллеи, – евангелическая церковь.

Я внимал и сомневался: социализм не противоречит человеческой природе, а вполне ей созвучен. Человек, изначально общественное существо, наконец может воплотить это свойство, создав новое общество. «Если нашему веку удастся стать эпохой социализма, то у христианства появится новый шанс. В противоположность буржуазному девизу “если не можешь осушить все слезы, осуши хотя бы одну” и библейскому обетованию “и отрет Бог всякую слезу с очей их”<sup>25</sup> будут осушены все слезы, *nunc et hic!*<sup>26</sup>» Господь Бог с любопытством следит за этим великолепным экспериментом и

---

<sup>24</sup> Евангелие от Матфея 11:28.

<sup>25</sup> Откровение Иоанна Богослова 21:4.

<sup>26</sup> Здесь и сейчас (лат.).

не лишает экспериментаторов своего благословения. Но пока еще не являет им лик Свой. «Не бойтесь детских болезней этого жестокого времени. Рано или поздно дух любви Христовой достигнет цели. Государство заинтересовано в том, чтобы привлечь на свою сторону нас, саксонцев, ведь мы – представители одной из старейших европейских демократий и усердные, умелые труженики».

С горящими глазами старик воскликнул, глядя на меня: «Ваше поколение и прежде всего вы, студенты, завтрашние интеллектуалы, – провозвестники социалистической саксонской народной общности! Господь мыслит категориями народов, вот только понимает их не так, как национал-социалисты». И пожелал мне: «Завоюйте доверие этого государства, радикально изменив свое сознание, совершив то, что в Новом Завете именуется метанойей, покаянием. Начните с чистого листа. Возможно, государство предоставит нам самоуправление, и мы создадим что-то вроде бывшей Автономной области немцев Поволжья или нашей нынешней Венгерской автономной области. Но не здесь, а где-то в другом месте, где никому не будем мешать и наконец ощутим себя частью новой общности. Например, в Сибири».

Вот что виделось пастору, а отнюдь не безмятежное существование изнеженных рыбок в аквариуме. Поэтому я собираюсь с духом и излагаю сидящему напротив меня господину мысли Арнольда Вортмана, хотя мне и страшно произносить его имя в этих стенах. Пока я осторожно пересказываю со-

держание этих разговоров, мой визави меряет меня испытующим, пронзительным взглядом, словно хочет попозже разоблачить и высмеять каждое мое слово.

Когда я замолкаю, мой повелитель произносит:

– Мы строим Царство Божие на земле, только без Бога!

Я опускаю глаза и слегка откидываюсь на спинку стула, это не запрещено.

– Спасибо за книгу. Я давно ее искал. На пастора Вортмана... – Я запинаясь, не в силах выговорить его имя, – на нашего городского пастора большое впечатление произвели последние слова Фучика: «Люди, я любил вас».

– Они как раз не последние. Последние слова его были «Будьте бдительны!» *Vigilant*<sup>27</sup>! Впрочем, как бы то ни было, вы сами видите, коммунисты могут не только быть бдительными, но и предаваться любви и жертвовать собой. Церковь называет это *Imitatio Christi* – подражанием Христу. Отрицать все личное, повиноваться безраздельно, вплоть до самопожертвования, – вот кредо коммунистов.

– Конечно, – вежливо соглашаюсь я, – именно это и имеет в виду городской пастор: коммунизм – это светский вариант христианства. Изначальный дух христианской традиции, жертвенность мучеников можно встретить в среде подпольщиков.

– И у женщин. Вообще, как заговорщицы женщины, девушки куда опаснее мужчин. Но вы это знаете лучше меня.

---

<sup>27</sup> Бдительны (рум.).

– Не только не лучше вас, но и совсем ничего об этом не знаю. Знаю только, что женщины и девушки храбрее, смелее нас. – Я сглатываю слюну. – И матери тоже.

– Кроме того, вы увидите, что по сравнению с пражским гестапо у нас настоящий санаторий.

Теперь майор намерен побеседовать о психических заболеваниях. Инсулиновую кому и электрошок он считает жестокими методами лечения. А вот против психоанализа он ничего не имеет. Хотя он реакционный, потому что создавался в первую очередь в расчете на буржуа с его оголтелым индивидуализмом и приверженностью к определенным социальным моделям поведения. К сожалению, этот вид психотерапии в нашей стране еще запрещен.

– Но все впереди.

Существует-де сходство между глубинной психологией и их работой: в обоих случаях речь идет о том, чтобы осветить самые темные уголки того мрачного подвала, что представляет собой сознание, и извлечь на свет божий любую тщательно вытесняемую ложь и утайку. А цель в обоих случаях одна – дать исцеленному таким образом человеку новое место в обществе. Вот только методы в их заведении несколько отличаются от тех, что практикует психоанализ. «Все хорошее, что есть в буржуазном обществе, можно спокойно заимствовать для нового порядка».

– Как сказал Ленин в своей речи на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи в

тысяча девятьсот двадцатом году, – вставляю я.

– Bravo, – одобряет майор, – кажется, вы начинаете понимать суть нашего учения, Вы уже демонстрируете партийную правдивость.

Я прикусываю язык: здесь скажешь лишнее слово – и ты погиб.

– Мы с радостью заимствуем из психоанализа все, что может нам пригодиться. Например, здесь нас интересуют всевозможные виды ассоциаций: не только осознаваемых взаимосвязей, но и коллективов. Вы же прошли сеанс психоанализа у доктора Нана из Клужа.

Новое имя. Как же мне защищаться?

– Представление о психическом состоянии пациента дают всевозможные ошибки в речи: оговорки, заминки. Например, чуть раньше вы на секунду замялись, прежде чем произнесли имя пастора Вортмана. Вы точно знаете, почему вам так трудно его выговорить. И мы тоже знаем: вы мучитесь сомнениями, переживаете душевный разлад. Ваше подсознание убеждает вас, что мы – ужасные мерзавцы, настоящие чудовища и нас надо остерегаться. С другой стороны, вы замечаете, что мы ведем себя как хорошо воспитанные, высококультурные люди, с которыми можно разговаривать. Другое противоречие, терзающее ваше подсознание, а именно между буржуазным происхождением и вашим нынешним конформизмом, стало очевидно, когда речь зашла о Хуго Хюгеле. Сами того не желая, вы трижды оговорились: ска-

зали «Кронштадт» вместо «Сталинштадт», назвали газету не «немецкоязычной», а «немецкой», а потом поименовали «партийный листок» «Народной газетой». Это наводит на серьезные размышления.

Он спрашивает, как проходил мой сеанс психоанализа у доктора Нана.

– Нан де Раков – это старинное румынское семейство, оно издавна живет в Трансильвании и происходит из Марамуреша.

Я так сжимаю кулаки, что ногти впиваются в ладони, наверное до крови. И послушно изображаю, как молодой врач целыми днями давал мне выговориться, слушая все, что приходило мне в голову.

– Ну, хорошо, это анализ, а до профессионального синтеза-то дошло?

– Нет. Несколько сеансов зимой-весной тысяча девятьсот пятьдесят пятого года, дважды в неделю, оказалось достаточно, чтобы как-то подштопать мою душу. К тому же я ведь оттуда уехал.

– И какой диагноз он вам поставил?

– Нарушение восприятия времени, – поспешно говорю я. – Мне часто кажется, что время – какое-то подобие безысходной смерти, и оно вздымается передо мной, как черная стена.

Излечил меня доктор или нет?

– Излечил? Время снова потекло. Но здесь оно чудовищ-

но затвердевает, давит на душу, повергает в хандру. Здесь существует опасность неизлечимо заболеть.

– Как относиться к времени, как его воспринимать, – зависит от нашего настроения, от склада ума.

Больше он ничего не добавляет и не обещает меня отпустить. Однако он упоминает «Волшебную гору». Я утверждаю, что время там – основное действующее лицо. В первой половине книги почти ничего не происходит. Один обед длится сто страниц. Да и потом тоже мало что случается.

Он пренебрежительно отмахивается. Зато подробно спрашивает о гидрологии и заметно оживляется, услышав, насколько это щедрая наука: «Не важно, на шестьдесят или на сто процентов правильны расчеты в гидрологии, результаты равно удовлетворительны». Он впервые узнает, что гидравлику называют ареной коэффициентов и учебным плацем теории вероятности. Ему становится понятно, что у всякого следствия может быть несколько причин. Ему не совсем ясно, почему одна причина может привести к нескольким следствиям.

Наконец мы нашли нейтральную тему. Я читаю лекцию о руслах и оттоках, о расходах воды и водоснабжении. «Меня поражает закономерное соответствие между уравнением Бернулли для потока реальной жидкости и правилами Кирхгофа для электрического тока – в скрытых от глаз слоях материи обнаруживаются таинственные взаимосвязи». Я запишусь.

Господин, сидящий напротив, выжидает, а потом говорит:

– Очень хорошо. И тем самым мы вернулись прямехонько к нашей материи. Нас тоже интересуют таинственные взаимосвязи в скрытых от глаз слоях общества, и насколько они соответствуют правилам и законам нашей республики, чтобы мы были застрахованы от всяких сюрпризов.

Он еще раз переспрашивает:

– Так значит, вам там не важно, сколько утекло кубометров воды – сто или шестьдесят?

– Ну да, в общем, это безразлично.

– Мы здесь работаем эффективнее, – говорит он задумчиво. – Если одну вещь знают двое, мы выводим ее на сто процентов, если что-то знает один, то мы на девяносто процентов это из него вытянем.

– Выходит, десять из ста упорно отмалчиваются.

– И да, и нет. *A priori* мы все изо всех вытягиваем. Но и оставшихся десять из ста заставляем заговорить. Только, к сожалению, мы вынуждены уважать их молчание *a posteriori*. Кстати, советую Вам, проштудируйте как-нибудь Кантово учение о морали. Тогда осознаете, насколько удобна наша этика: нравственно все, что служит на пользу тому, кто живет плодами своего труда.

Майор поднимается с места и окапывается за письменным столом. Снимает замшевые перчатки и хлопком в ладоши вызывает караульного.

Не успел я на следующее утро проглотить завтрак и покормить мышей, как за мной пришли. Грохот шагов в коридоре все приближается, опережает надзирателя, устремляется к моей камере. Дверь распахивается. Если они меня сейчас отпустят, к вечеру я успею попасть в Клаузенбург. Хотя посланец наверняка меня помнит, он, заикаясь, спрашивает мое имя, как будто в камере есть еще кто-то, с кем он мог бы меня перепутать. Он крутит очки на указательном пальце, а потом бросает их мне изящным движением. Глаза у него блаженно сияют, и мне кажется, он вот-вот начнет насвистывать хору. Он берет меня под руку, не слишком прижимая к себе мой локоть, – я ощущаю запах «Сфэнту Йон» – и стремительно увлекает меня вперед. Один раз он без предупреждения останавливается, и я чуть не падаю. Он хватает меня за талию, кружит в танце и шепчет: «Я женюсь. Мою *adoratā* тоже зовут Йоана, какое счастье!» После таких откровений он грубо командует: «Сюда!» или «Направо!»

Давешний майор нынче в форме. Он не спрашивает, как я себя чувствую и хорошо ли спал. На столе лежат бумаги, книги, тетради, он перелистывает их. В комнате пахнет работой и опасностью, на лице у него застыло строгое выражение.

– Вчера вы упомянули две физические формулы. Можете мне их назвать?

Я произношу их.

– Отлично, память у вас с каждым разом улучшается.

Он что-то записывает. Раньше такого не было.

Не могу ли я вспомнить название улицы в Араде, на которой я родился?

– Улица доктора Русу-Ширьяну.

Эта улица в центре?

– Да, она выходит на главную площадь.

Она сегодня носит то же название, что и примерно двадцать лет тому назад?

– Да, то же самое, – отвечаю я почти с гордостью.

Сколько мне было лет, когда мы уехали из Арада?

– Три года.

Помню ли я дом в Араде, квартиру, двор, соседей, знакомых?

– *Sigur*<sup>28</sup>, – мы говорим по-румынски.

– *De exemplu*<sup>29</sup>?

Я пытаюсь сосредоточиться.

– Например, бонна однажды поскользнулась под аркой ворот и упала. А я потом заметил на бетонном полу углубление и решил, ага, это оттого, что Вероника там шлепнулась!

– Весьма показательно. Еще в детстве вы были склонны делать ложные выводы.

Он что-то записывает.

– Как вы думаете, этот доктор Русу-Ширьяну был реакционер или человек прогрессивных убеждений?

---

<sup>28</sup> Конечно (рум.).

<sup>29</sup> Например? (рум.).

Я медлю с ответом:

– Поскольку эта улица до сих пор носит его имя, едва ли он был реакционером. Наверное, он был выдающимся румыном, не придерживавшимся никаких идеологий. Ведь в городах почти все таблички с названиями улиц, поименованных в честь румын, были заменены табличками с русскими именами.

– Не с русскими именами, а с именами советских героев и борцов за дело коммунизма, – поправляет меня майор. – Весьма характерные ошибки!

Да, здесь надо взвешивать каждое слово!

– Для диалектика это неубедительный аргумент. Если вы считаете себя диалектиком, то не должны исключать и обратное, сколь бы парадоксальным это ни казалось.

И переходит на немецкий:

– А вам известно, что слово «парадокс» можно перевести как «встречный свет», «отражение»?

Не дожидаясь ответа, он продолжает по-румынски:

– Возможно, арадские власти были недостаточно *vigilent* и не заметили это имя или, того хуже, что реакционные элементы в городском совете намеренно сохранили табличку с его именем. Диверсия! Саботаж!

Я почти ощущаю вину в том, что не родился в переулке Лунного Света или на Фиалковой улице:

– Я ничего не знаю об этом докторе. Поэтому не могу судить, был ли он реакционером. К тому же его и на свете-то

уже нет. И вообще, это маленькая улочка.

– Но в центре города. Еще раз: все необходимо рассматривать в свете диалектики, так сказать, направляя свет то с одной стороны, то с другой. Поэтому нас удивляет, что вы нарисовали совершенно ложный образ этого Энцо Путера, обладателя западногерманского паспорта. – Он поднимает стопку бумаг. – В своих довольно скудных показаниях, данных в первое воскресенье, вы, не жалея усилий, представили его сторонником социалистического лагеря. Мы установили, что все это ложь. Что вы хотите скрыть?

Пока я обдумываю опасный вопрос, он открывает толстую тетрадь в черном картонном переплете и проводит пальцем по странице сверху донизу:

– Что вы можете сказать мне о ... – он перелистывает страницу, – например, о некоем Хансе Тролле?

– Ничего, – отвечаю я.

Знаю ли я его?

– Один раз видел.

– Где?

– У нас дома в Фогараше. Он заходил к нам на полчаса во время велосипедной прогулки.

– Ну, вот, пожалуйста, – говорит офицер и что-то записывает. – Он был один или с кем-то?

– Один, – с облегчением отвечаю я.

– И что он делал, что говорил в эти полчаса?

– Съел тарелку супа. Потом поблагодарил и попрощался,

сказав: «Благослови Бог»<sup>30</sup>.

– Только супа? Какого супа?

Два вопроса сразу.

– Картофельного, – сообщаю я и поспешно добавляю. – Без мяса. Но с молодым репчатым луком.

Не надо больше спрашивать!

– А на второе?

– Съел ленивые вареники. Десять штук. С джемом по пять двадцать за банку.

– Ах, вот, значит! А как он относится к народно-демократическому режиму нашей республики?

– Не знаю, я ведь с ним почти незнаком.

– Как вы можете это утверждать, если он бывал у вас в гостях? Если вы приглашали его на обед?

– У нас бывает вся саксонская молодежь. Фогараш расположен точно посередине между Германштадтом и Кронштадтом, простите, Сталинштадтом: семьдесят километров в одну сторону и семьдесят в другую.

– Уже по тому, как человек покупает овощи на рынке или обращается с ножом и вилкой, можно судить, предан ли он режиму.

Вот и бабушка моя примерно так же говорила: человек есть то, как он ест.

– Вам что-нибудь запомнилось в его поведении?

---

<sup>30</sup> Приветственная (или прощальная) формула «Grüß Gott» принята в Баварии и Австрии.

– Да, – отвечаю я, не подумав, – на нем были короткие штаны, короче, чем у других юношей.

Батюшки, какая важная информация! Майор что-то записывает. Что он там отметил? Слишком короткие штаны? Ленивые вареники? Или что сказал «Благослови Бог»?

Он властным жестом захлопывает черную тетрадь. Неожиданно возвращается к Энцо Путеру, но последний, такой зловещий вопрос не повторяет. Из показаний допрошенных и его собственных сведений явствует, что Путер – агент западногерманской разведки и получил задание вербовать молодых людей в нашей стране для подрывной деятельности, а также организовать сеть подпольных групп. Это якобы удалось ему во время двух его приездов, в конце осени тысяча девятьсот пятьдесят шестого и в конце лета тысяча девятьсот пятьдесят седьмого, причем ключевую роль в выполнении его плана сыграла моя бывшая возлюбленная Аннемари. Он лицемерно вопрошает:

– Вы же знаете, что она вышла за него замуж?

– Да, – сдавленным голосом произношу я.

Эту новость моя мама узнала в очереди за молоком. Удивительно, но жениху и невесте немедленно дали разрешение на брак, хотя обычно его приходилось ждать годами, а то и вообще можно было не получить. Людям, толпящимся у молочной лавки в Фогараше, это справедливо представлялось странным.

– Пожениться-то они поженились быстренько, но вот для

брака этого недостаточно, – многозначительно добавляет майор и присовокупляет более строгим тоном: – Эта чрезвычайно опасная личность, Аннемари Шёнмунд, ввела западногерманского агента в конспиративные круги. До конца тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года она служила связной между румынским подпольем и Западом. Через нее передавалась вся информация и координировались диверсии.

Он поднимается и уходит. Ему-то можно уйти!

Как же он сказал? Она служила связной до конца пятьдесят седьмого года. Значит, сейчас уже не служит. Это может означать только одно: она тоже здесь. Как же мне жаль мою бывшую подругу, разлюбить которую я пытаюсь вот уже полтора года. Тюрьма ее уничтожит. Она же слепа на один глаз, другой у нее поврежден. Он у нее сильно косит, но это придает ей особое очарование. Врачи предполагают, что это следствие рассеянного склероза. В пустой и мрачной одиночной камере, где нет нежной сирени, цветущей над садовыми скамейками, где не благоухает дурманящий жасмин, ей предстоит чахнуть до конца ее дней, в отчаянии думаю я. Если Секуритате имеет точные сведения, – а я вдруг не осмеливаюсь в этом сомневаться, – то она как главная обвиняемая получит высшую меру наказания. Будет приговорена к пожизненному заключению, к каторжной тюрьме, к одиночной камере. И к кандалам.

Майор возвращается. Задает вопросы о болезни Аннемари. Я отвечаю односложно.

– Вы слушаете? Или витаєте в облаках?

И да, и нет. Это следствие моей душевной болезни. Меня охватывает внутренняя пустота, что-то вроде вакуума, я проваливаюсь в какую-то дыру, как в мешок, там теряю всякое ощущение времени и пространства, и меня поглощают безумные, навязчивые идеи.

Неожиданно меня осенило: если они могут в чем-нибудь обвинить любого невинного, который к ним попадает, то почему бы им, наоборот, не отпустить меня, только на первый взгляд виновного? Это парадоксальная возможность поступить так, как советовал майор: прибегнуть к диалектической аргументации, посмотреть на дело с разных сторон – и так, и эдак. Я сжимаю колени, собираюсь с духом и быстро и умоляюще произношу на своем родном языке:

– Я не могу доказать, что ни в чем не виноват. Это здесь никому не под силу. И все же я считаю, что нам пора заканчивать. Мне надо вернуться в клинику. А еще надо вернуться в университет. Я здесь уже больше недели, сейчас январь. Через несколько дней начнутся последние экзамены за семестр: водное хозяйство, прогноз водного режима и диалектический материализм. С февраля нужно готовить дипломную работу. Тема сложная, исследование новаторское и может принести пользу народному хозяйству: математические формулы для расчета расхода воды для водных потоков с естественным течением. Требуется провести много замеров на местности и опытов в лаборатории. Если удастся подсчи-

тать за письменным столом расход потока для естественно-го русла, то тогда не придется больше проводить измерения прямо на реке и можно будет сэкономить миллионы на оборудовании и на жаловании гидрометристам. Время не ждет. Подумайте, речь идет о моем профессиональном будущем, я почти достиг цели. Пожалуйста, освободите меня.

– Цыган и у берега утонет, если продолжить ваши метафоры, – говорит майор.

– Ведь все уже выяснилось. То, что натворили эти молокососы...

– Каких молокососов вы имеет в виду?

– Ну, этих, из вашей черной книги. В сущности это все глупая болтовня, пустые разговоры, им не надо придавать значения. Строго говоря, тогда всех саксонцев можно судить. Ну, разве найдется такой, кто не сболтнул бы лишнего? И потом, вы же знаете, что я не враг государству.

– Докажи нам это, – неожиданно переходит он на «ты».

– А вот что касается Аннемари Шёнмунд и Энцо Путера, у вас же, господин майор, и так достаточно информации. Следовательно, я вам ни к чему. Но все же я настаиваю: они не опасны. Они совсем не те, кем вы их считаете.

– Как ты можешь утверждать подобное? Докажи!

– Потому что им не под силу совершить то, в чем вы их обвиняете. Ни одна тайная служба таких не вербует.

Я избегаю ужасных слов «агент» и «шпион».

– Почему? – спрашивает он. – Где доказательства, где сви-

детели?

– У меня есть убедительное доказательство.

– И какое же?

– У них вместе взятых и одного здорового глаза не наберется. Оба слепы на один глаз, а вторым оба плохо видят. К тому же этот Энцо Путер страдает куриной слепотой. Но для этих темных делишек как раз требуется отменное зрение, тем более ночью. Может ли один слепой вести другого так, чтобы они оба не упали в яму? – Я слышу, как говорю дрожащим голосом: – Отпустите эту девушку на все четыре стороны, она смертельно больна. Это ведь мужское дело. – И повторяю по-румынски: *Dați-i libertatea!*

Майор хмурится. И отвечает по-немецки:

– Если я правильно помню, ты только что сказал, что проваливаешься в какую-то дыру, как в мешок. Нет, голубчик, ты сам мешок, и мы уж из тебя много чего повытряхиваем, в тебе еще всего полным-полно.

Он хлопает в ладоши, подзывая караульного, и говорит по-румынски:

– Засунь-ка его в мешок.

Я почти волоку надзирателя за собой, а он, хотя и зрячий в отличие от меня, явно не знаком со здешними лестницами. Мои испуганные мысли обгоняют меня, несясь в бешеном темпе. Когда меня поглощает сумрак камеры, я заползаю в самый дальний угол.

Я внимательно обдумываю беседы с майором и прихожу к выводу, что ничто в них не говорит в пользу моего скорого освобождения. Кроме одной детали: «...заслуженных социалистических авторов до сегодняшнего дня и на порог не пускаете». Эту фразу высокий начальник произнес в настоящем времени, словно ожидая, что я вскоре приглашу обойденных вниманием авторов и приглашу явно не сюда.

Остальное указывает на то, что майор и его штаб готовы потратить на меня сколько угодно часов, дней, месяцев, лет.

Однако я ни в коем случае не позволю господину в замшевых перчатках предписывать, что мне здесь, в казематах, делать со своим временем, каким мыслям предаваться:

«Если вам больше нечем заняться, обдумайте как следует дело Аннемари Шёнмунд». Мне есть чем заняться: сидя на ведре и едва не валясь на пол от усталости, я ожесточенно пытаюсь решить дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка, хотя и знаю, что без карандаша и бумаги это вряд ли удастся. Но уже вскоре соскаль-

зываю в цитату из «Волшебной горы», которую в разговоре со мной приводил майор. Как же там было? «Любовь – это разновидность болезни?» Или «болезнь – это разновидность любви?» Проходит несколько минут, часов или дней – и я ловлю себя на том, что все-таки думаю об Аннемари, как рекомендовало мне высокое начальство.

Считалось, что ослепла она от голода. Беспомощное семейство, после войны брошенное на произвол судьбы: безмолвная мать, гордая крестьянская дочь, которую непонятно каким ветром занесло в город, упрямый и своенравный сын Гервальд, с которым мать не могла справиться, и еще не оперившаяся дочь Аннемари, ощущавшая свою ответственность за все живые души от мухи до булыжника.

Франц Йозеф Шёнмунд, отец, исчез из семьи весьма странным образом. По роду занятий часовщик, он отвечал на румынской железной дороге за состояние вокзальных часов. Эти вокзальные часы он установил так точно, что машинисты вышли из себя, подкараулили его, попытались подкупить и, в конце концов, поколотили. Он отделался синяками. «В такой стране, где пунктуальность вознаграждается тумаками, немец может оставаться немцем, только подвергая свою жизнь опасности». Прибежище дало ему Движение за возрождение немецкой нации в Румынии. Соотечественнику Францу, «вернувшемуся в лоно родного народа», вменялось в обязанность следить за часами и хронометра-

ми во время спортивных празднеств, соревнований и демонстраций. А в новом Движении он круглосуточно ручался за точность часов. Во время Олимпийских игр тысяча девятьсот тридцать шестого года в Берлине руководство Движением, базировавшееся в Кронштадте, направило его в столицу в помощь верховному смотрителю всех часов Третьего рейха, задействованных в спортивных мероприятиях. Там он и осел, и, хотя и принадлежал к числу расово сомнительных «восточных» немцев, женился на нордической дочке своего патрона. «Вернулся на родину», – сказали его оставшиеся в Трансильвании товарищи. «Изменил жене», – решили трансильванские кумушки.

Его часы остановились под Сталинградом. Он замерз в подземном убежище, которое вырыл себе, точно следуя схеме, собственноручно разработанной фюрером и сброшенной на листовках с самолета. С точностью до минуты он замечал, как остывает его тело, как пальцы делаются прохладными и влажными и стынет кровь в жилах. Четверых детей мертвец оставил в разрушенном Берлине и еще двоих – на прежней своей родине. Жены в расчет не принимались.

Не успела дочь чуть-чуть подрасти, как примерила на себя роль пламенной революционерки, мечтающей о радикальном переустройстве общества: наглядные политические уроки она получили от дяди, который, будучи военнопленным, повоевал в сибирском Красном легионе. Еще в начальной школе она возглавила тех немногих, кто на большей пере-

мене жевали скромные бутерброды с салом, и повела их на борьбу против одноклассников, приносивших из дома булочки с ветчиной. Дело дошло до классовых боев, которые кончались тем, что упитанные детки отдирали со лба масляные куски хлеба, пока их одноклассники из бедных семей проглатывали ломтики ветчины. Мятежная девчонка, вспрыгнув на учительский стол, принималась размахивать сине-красным саксонским школьным флагом и кричать: «Пролетарии всех школ, объединяйтесь!»

В голодные послевоенные года Аннемари рылась в мусорных баках в поисках отбросов – по большей части картофельной шелухи и капустных листьев. Старший брат сочинял сонеты и был этим вполне доволен. Мать зарабатывала сущие крохи, сортируя семена и обмакивая в клей наконечники шнурков.

Однажды утром, когда Аннемари открыла глаза, ночная тьма не отступила. На целых два года она потеряла зрение и была прикована к постели, лежала, не шевелясь, в надежде, что поврежденная сетчатка восстановится. Устремив взгляд в себя, она путешествовала по фантастическим странам.

В это мрачное время она сделала несколько необычайных открытий, касающихся собственной личности, одновременно осознав, насколько порочна и слаба человеческая природа. Утешало только, что человека можно перевоспитать и усовершенствовать, а с грустным положением дел примиряло, что во всех живых существах и во всех вещах обитает

мировая душа. Это и другое она записывала на листах оберточной бумаги шатким, почти неразборчивым почерком. Во дни нашей великой любви мне было позволено прочесть эти заметки. Судя по ним, о людях в целом она была невысокого мнения, включая своего одухотворенного брата и смиренную мать. Я в ее записи еще не попал.

Пока она ощупью пробиралась в потемках собственной души, в качестве сочувствующего друга по переписке ее неизменно сопровождал этот злосчастный Энцо Путер. Впрочем, как человека из плоти и крови его отделяли от Аннемари непреодолимые препятствия. Из другого мира, который невозможно было даже вообразить, он писал ей, советуя изучать психологию даже при нынешнем режиме. Он был уверен, что зрение к ней вернется. Письма никогда не виденному другу Аннемари диктовала румынской школьнице Клаудии Ману, которую учила немецкому. Только ей, а не поэтическому брату Гервальду и не безмолвной матери, разрешалось читать Аннемари письма «свыше».

Спустя два года зрение на одном глазу чудом вернулось, а другой не утратил своей красоты. Осталась только легкая косинка.

«И все это благодаря могуществу Мирового Духа Господня, воплощенного в трех ипостасях», – объявил целитель и ясновидящий Марко Зотериус, владевший также многими другими странными и загадочными искусствами. Никто более не ставил под сомнение его славу оккультиста, ведь

он с точностью до минуты с помощью маятника предсказал смерть Розамунды, первой жены дяди Фрица, еще до того, как из Вены в Танненау пришла об этом телеграмма.

Марко Зотериус садился у Аннемари в головах постели. Золотой маятник безучастно покачивался над лицом зачарованной. И вдруг драгоценный предмет задрожал в пальцах целителя и стал описывать сложные кривые над ее челом. Одержимый сумел сделать то, что превосходило человеческие возможности, по лицу его градом стекали капли пота. Он прилагал все усилия, «дабы открыть потухшим очам слепой девицы источники света в окрасившемся тремя красками, трепещущем сердце божественного мирового духа».

– Вздор все это, – резюмировала впоследствии Аннемари. Мы сидели в саду ее клаузенбургских квартирных хозяев, в тенистом уголке под сенью сирени, скрытые от посторонних глаз жасмином.

– Если бы Зотериус действительно был посланцем Божиим, то его маятник подсказал бы ему, что я в эту чушь не верю. А какое лечение без веры? Можешь себе представить, какую гримасу я скорчила во время этого сеанса?

– Да не очень, – уклончиво ответил я.

– И вообще, что такое Бог: измышление слабых, ничего не значащее слово, лишенное всякой логики. Если уж Бог существует, то во мне, во мне лишь одной, через меня саму.

– И во всех живых созданиях, во всех вещах, – напомнил я. – Ты так любишь поговорить о мировой душе...

– Это всего-навсего расширенное применение основной посылки. Но брось ты это все! Зрение я себе вернула самостоятельно, силой воли. Когда я лежала, предоставленная самой себе, то часами воображала каштан нашего соседа Тёпфнера. Майские жуки объели на нем первую нежную листву, но потом на ветках выросли новые ярко-зеленые листья. Почему бы тогда и моей истерзанной сетчатке не возродиться? Кстати, это называется умозаключением по аналогии. Все подчиняется логике.

– И педагогике, – напомнил я.

– Вот именно, – с жаром подхватила она. – Педагогика – это логика воспитания человека. Применительно к каждому человеку у нее есть формула, точно выражающая, что он собой представляет и каким он должен быть. Если я не родилась слепой, значит, и не обязана быть слепой. – Она называла это технической педагогикой и не брезговала никакими средствами, чтобы подогнать под свою схему всех подряд. – Вот тебе более замысловатый пример: моя мама, которая очень нравится самой себе в роли покинутой жены, в сущности всегда хотела избавиться от моего отца. Она в душе так и не смогла смириться с тем, что, хотя и происходила из почтенного бурценландского фермерского семейства, переехала в город вслед за мужем, ремесленником без гроша за душой. Если бы она осталась фермерской дочкой, к чему и предназначала ее судьба, или женой ремесленника, то я бы выросла с отцом, как и все остальные саксонские городские

и сельские дети.

Напротив, теоретическая педагогика казалась ей сочетанием учения Павлова о рефлексах с марксистскими догматами. «Почти на каждого из близких, – заметил мой брат Курт-Феликс, – она наклеивает этикетку: этот – вот какой, а той надо бы так-то и так-то измениться. Никто перед ней не устоит. Нашу маму она считает мещанкой и истеричкой, ее собственный брат, как ей кажется, сублимирует свои чувственные влечения, сочиняя сонеты. Когда-нибудь она и тебя начнет анализировать». Я старался его не слушать. С другой стороны, он наверняка знал, о чем говорил, ведь он изучал антропологию и историю Трансильвании в венгерском университете имени Яноша Бойяи.

– А как же таинственная сущность человека, а как же человек, исполненный противоречий?

– Любую тайну можно представить рационально. Всякое противоречие стремится к своему разрешению. Нужно только уметь препарировать человеческое сознание, чтобы потом воссоздать его по точным правилам. Нужно иметь мужество называть все вещи своими именами.

Наша тетя Герта была другого мнения:

– Такие люди не умеют себя вести. Как можно без стеснения вторгаться в интимную сферу? В жизни человека есть вещи, которые даже вообразить неприлично, не только обсуждать! – Она сказала это, только когда великая любовь ко мне Аннемари прошла без следа.

– Нужно иметь мужество, – повторила Аннемари под ночной сиренью, – вникать в суть всякого явления, всякой вещи.

Спинки у скамьи не было, поэтому мне пришлось обнять Аннемари за плечи.

– Я где-то читал, что каждый человек ценен ровно настолько, насколько в нем есть тайна.

– Тайна – это синоним лжи.

– А как же психология: бессознательное, сны, стыд, душа?

– Душа? Наш профессор Рошка утверждает, что психология – это беспредметная наука.

– А твоя душа?

– Моя душа? – грустно переспросила она. – Моя душа рассеется, как пепел.

– Надеюсь, несколько пылинок осядут на этой сирени, – смущенно сказал я и привлек ее к себе.

– Утешься: есть еще мировая душа.

За мировую душу она держалась с непреодолимым упорством. Это произошло в Клаузенбурге. Мы закупили всякой еды, лучшей из дешевого: парижской колбасы по девять леев за кило, помидоров, зеленого перца, всего на пятьдесят баней, к тому же я за спиной у продавщицы стянул красную луковицу. Черный хлеб по карточкам мы попросили выдать нам за два дня. Нам хотелось есть. Накануне ночью я заработал десять леев, вместе с однокурсниками разгружая вагон подсолнечных семечек. Мы с Аннемари как раз устроились поудобнее в парке отдыха имени И.В. Сталина и собирались

попировать, и тут к нам, пошатываясь, подбежал бродячий пес, кожа да кости. У Аннемари на глазах выступили слезы. «Неужели мы сможем пировать перед лицом таких страданий?» Мне казалось, что проще всего прогнать его или пересесть на другую скамейку. «Да как ты можешь, у него тоже есть душа, как у тебя и у меня!» И она бросила ему колбасу и все куски хлеба. Голодный пес обнюхал хлеб, полизал колбасу. И засеменял прочь. А я покатил ему вслед помидоры. «Помидоры – собаке? Что за бессмыслица!» Птицы отвергли паприку, и мы скормили ее рыбам. Напоследок я с аппетитом съел луковицу.

В самом начале нашего романа, когда мы еще осмеливались произнести слово «счастье», я однажды привел Аннемари к тете Герте и бабушке. Мне хотелось, чтобы мои близкие полюбили Аннемари так же, как я.

– Что ж, хорошо. Мы будем рады. Приятно поболтаем вечером, – сказала бабушка.

Тетя Герта тоже не имела ничего против:

– Только скажи нам, из каких слоев общества она происходит.

– Из никаких.

– Я только спросила, чтобы мы могли как-то подготовиться.

Из скромной трехкомнатной квартиры дамам оставили одну каморку, выходящую окнами на север. В нее они кое-

как втиснули вещи, уцелевшие за последние сорок лет после исторических катастроф, сотрясавших мир на участке между Будапештом и Германштадтом, вещи нужные и ни на что не годные, в том числе немного серебра и слоновой кости. А в потайном ящичке шаткого секретера хранились фамильные драгоценности. Каждую из двух других комнат занимали семьи с детьми. Плиту, ванную комнату и кладовку приходилось делить.

Во время чая за любовно накрытым столом Аннемари делилась последними собственными открытиями в области педагогики, решительно называя вещи своими именами. По одним лишь анатомическим признакам якобы можно установить, лишилась ли девица невинности. «Если у достигшей половой зрелости девицы, стоящей со сжатыми коленями, между бедрами образуется отверстие такого размера, чтобы через него могла прошмыгнуть, например, крыса, – на практике для установления девственности можно просунуть пивную бутылку, – то девица еще *virgo intacta*».

Тетя Герта спросила, как чувствуют себя отец и мать Аннемари.

– Отец, пожалуй, чувствует себя хорошо, его нет в живых. Мама чувствует себя плохо. Она много лет страдает депрессией. – И продолжала: – Другой признак непорочной девственницы: она не носит бюстгальтера, а если носит, значит, уже переспала с мужчиной. Ничем не удерживаемые груди – примета девственницы.

Вмешалась моя бабушка:

– Благородное слово «девственница» сегодня услышишь нечасто.

Тетя Герта спросила, давно ли нет в живых ее отца.

– Он замерз под Сталинградом.

– Зимы в России очень, очень холодные, – заметила тетя Герта, не упоминая, что она пережила пять таких зим.

– Можно сказать, он стал особой, личной жертвой Гитлера.

– Как и все мы, – вздохнула тетя Герта.

– Нет, не все. Я намеренно употребила слова «особой, личной».

И Аннемари сообщила, что солдат Франц замерз на глубине девяноста сантиметров под землей, в одиночном бункере, размеры которого лично определил Гитлер:

– Подумать только, и это для России, где глубина промерзания грунта составляет восемьдесят сантиметров!

– В России глубина промерзания грунта на тридцать процентов больше, чем в Европе.

– Знание – сила, – торжествующе откликнулась Аннемари. – Если бы Гитлер это знал, его солдаты не замерзли бы.

Бабушка сняла согревавшую чайник вышитую грелку. Во время правления в Будапеште большевика Бела Куна<sup>31</sup> у нее начались приступы нервной дрожи. В эпоху правления Сталина ее состояние не улучшилось. Поэтому чай, липовый

---

<sup>31</sup> Имеются в виду события Венгерской революции 1918 года.

чай, который мы пили из чашечек без ручек, разливала тетья Герта. Подавались к чаю линцское песочное печенье и сейкейские пирожные.

– А мед-то я и забыла, – смущенно сказала бабушка. – Надеюсь, он еще не пропал.

Она двинулась было в кладовку, но повернулась к нам, снова закрыла дверь и прошептала:

– Фройляйн М. (это была соседка по фамилии Михалаке, начальница отдела кадров в профсоюзе парикмахеров «Гигиена») иногда путает полки в кладовке. Фрау А. тоже это заметила. С другой стороны, фройляйн М. растит осиротевших мальчиков своей сестры. Добрая душа.

И с этими словами бабушка просеменила за дверь.

«Фрау А.» бабушка и тетя для краткости именовали фрау Антонесе, преподавательницу французского языка, которой довелось учиться в Париже. С мужем и двумя взрослыми детьми она проживала в угловой комнате. Хозяйство вел ее супруг, в прошлом полковник кавалерии. Кастрюли других жильцов он сдвигал на плите в сторону саблей. А когда мыл посуду, то становился в угол, забаррикадировав кухонную дверь. Однажды фройляйн М. все-таки удалось прорваться в кухню, но тут на нее обрушилась увесистая кавалерийская сабля, ранив в грудь. «Колонель», привыкший на войне к крикам и виду крови, как ни в чем не бывало продолжал мыть посуду. Поскольку он никогда не достаивал никого и словом, с ним бесполезно было спорить или объясняться. По

временам он произносил одно-единственное загадочное слово: «*Merde!*»<sup>32</sup>

– Вашу старенькую бабушку, конечно, подавлял и тиранил супруг, – сменила тему Аннемари. – Приступы дрожи были ее неосознанным бунтом.

– А почему она до сих пор страдает тремором, если де-душки давным-давно нет в живых? – спросил я.

– Сейчас она хочет таким образом вызвать сострадание окружающих.

Тетю Герту интересовало, сносные ли жилищные условия в Кронштадте.

– Когда мой отец смылся в голубые дали, мама выиграла в лотерею домик, – сказала Аннемари.

Тетя Герта решила не осведомляться, где именно находятся голубые дали.

– Господь всегда хранил вдов и сирот, – с воодушевлением заявила бабушка и дрожащей рукой поставила банку меда на стол.

– Ничего подобного. Она просто верно угадала комбинацию цифр. Кстати, если установить психологические причины тремора, его можно вылечить. Тогда это всего-навсего дело педагогики. Только этого нужно по-настоящему захотеть.

– Как же иначе, – любезно заметила бабушка.

– Но если вы не хотите дрожать, то почему дрожите все сильнее?

---

<sup>32</sup> Дерьмо! (франц.).

– От радости, – вставил я.

В дверь постучали. Не дожидаясь, когда ответят: «Войдите!» – дверь распахнули, и в комнату вошли два мальчика, каждый с подносом в руках, а за ними женщина в запачканном халате и в тапочках на босу ногу. Мальчик поменьше был в клетчатом передничке и в платице, носить какое-то предписывалось всем детсадовским деткам вне зависимости от пола, а тот, что постарше, – в школьной форме цвета морской волны со светло-голубой рубашкой и темно-синим галстуком.

– Вот, принесли немножко *dulceață*<sup>33</sup>, – сияя, объявила фройляйн Михалаке. – Мальчики мечтали увидеть высоко-ученых товарищей студентов. Йоника уже знает, что хочет изучать. Ну-ка скажи товарищам!

– Судостроение в Галаце, – с серьезным видом сказал мальчик.

Фройляйн Михалаке протиснулась между хозяевами, гостями и мебелью и принялась раздавать всем розетки с сахаренным вареньем. К ним она подала четыре крохотные кофейные ложечки, словно фокусник, достав их из декольте. Пока Аннемари принюхивалась к десерту, а я многословно благодарил, тетя Герта с бабушкой сидели словно окаменев и злобно поглядывая на красноватый, поблескивающий десерт, как будто это яд.

– Как, вы не угощаетесь? – разочарованно произнесла

---

<sup>33</sup> Сласти (рум.).

фройляйн Михалаке. – Ах, да, я забыла воду, а без воды никак. Ложечку варенья, глоточек водички.

Она с трудом проложила себе дорогу к креслу в цветочек у окна, куда усадила детишек, и вразвалку проковыляла за дверь, предварительно придвинув стол к буфету. «Здесь слишком тесно, нам всем не поместиться».

Не успела за ней закрыться дверь, как тетя Герта воскликнула:

– Не притрагивайтесь к *dulceață*!

– Серебряные ложечки, конечно, краденые, – с явным удовольствием произнесла Аннемари. – Серебряных приборов с монограммой даже у таких, как мы, не водится. Откуда же им взяться у такой, как она?

– С монограммой? – переспросила бабушка. Она раскрыла лорнет, осмотрела ложечку и потрясенно возгласила:

– Боже мой, это же ложечки нашей доброй Ханни! Смотрите, И. Г. – инициалы Иоганны Гольдшмидт. А мы-то их обыскались! И что же нам теперь делать? Мы же не можем сказать фройляйн М., что это наше имущество. Это оскорбит бедняжку. Оставим все, как есть. Что пропало, то пропало.

Ложечка выскользнула у нее из пальцев и упала ей на колени, словно хотела спрятаться.

– Педагогическая задачка на сообразительность. Решим за секунду! – провозгласила Аннемари.

Фройляйн Михалаке вернулась с четырьмя стаканами во-

ды на подносе. Тетя Герта достала из комода четыре блюда и поставила их под стаканы с водой. Бабушка уронила свое блюдо на пол, и оно разлетелось вдребезги. Фройляйн Михалаке нагнулась, чтобы их подобрать, выставив за сдвинувшимся вырезом халата на всеобщее обозрение внушительный бюстгальтер. На одно мгновение нас посетила одна и та же мысль: фройляйн уже не девственница! Она тяжело осела на кровать тети Герты, сложив черепки в высоко задранный подол. И мы увидели, что бедра ее тесно прижимаются друг другу. Крыса ни за что не могла бы между ними проскользнуть.

Аннемари бесцеремонно стала перед фройляйн Михалаке, держа в руке ложечку, и любезно сказала:

– Как же нам не хватало этих ложечек! Большое спасибо за то, что вы их принесли. Они принадлежали нашей покойной тете из Фрека, ее дух так долго блуждал в поисках ложечек!

– Ложечки покойницы? – испуганно прошептала фройляйн Михалаке. – И точно, вчера в уборной мне показалось, что в бачке бурлит и клокочет призрак. И точно, это была ваша тетушка!

Фройляйн Михалаке перекрестилась.

Аннемари вложила ложечку ей в руку:

– Смотрите, тут даже монограмма есть – И. Г.

– Дьяволова печать! – вскрикнула фройляйн, отстраняясь от проклятой вещицы.

Аннемари села рядом с ней:

– Это не дьяволова печать, а знак того, что и у столовых приборов есть душа.

– У неодушевленного предмета? Еще хуже.

Она вздрогнула и трижды переплюнула через левое плечо. Аннемари матерински обняла обезумевшую от страха фройляйн Михалаке, поправила на ней бюстгальтер, подвинула полу халата без пуговиц, аккуратно прикрыв грудь, живот и бедра, потуже затянула пояс. Фройляйн Михалаке, не вставая с постели, зашвырнула ложечку за голландскую печь, и та с нежным серебряным звоном покатила по полу.

– Разве вы не слышите голос мировой души?

И точно: мы все различили блаженный старческий смех доброй тети Ханни. Фройляйн Михалаке подхватила мальчиков и бежала, туго перепоясавшись, но в совершенно расстроенных чувствах.

Мы попросались. Аннемари заключила в объятия маленькую бабушку, которая теперь дрожала всем телом, и в утешение сказала ей: «Кто так дрожит, меньше мерзнет». Тете Герте, которая не могла на прощание подать ей руку, потому что, как полагается хорошей хозяйке, держала поднос со сладостями, она сделала книксен: «Кто ведет себя так аристократично, живет дольше».

Следующие четыре года нас на чай не приглашали.

В рождественский сочельник в Клаузнебурге Аннемари, перелистывая свои заметки и графические изображения,

внезапно осознала, что мой брат Курт-Феликс в данный момент не вписывается в ее схему социальных рефлексов.

«Надо сказать ему, что я не смогу его принять». На этот вечер она выбрала и пригласила к себе весьма узкий круг друзей. Я как раз прикреплял на елке последние свечи. Аннемари не стала объяснять мотивы своего решения. «Положись на меня, я основательно изучила его случай». Я положился на нее, ведь это происходило в Рождество. Хотя мог бы и спросить: «А почему ты зовешь Любена, он ведь не вписывается ни в какую схему? И Михеля Зайферта?»

Комнату Аннемари делила с двумя студентками, румынкой Лавинией и венгеркой Марикой. Обе они страстно жаждали появления Курта-Феликса, который привлекал их не только как кавалер и занимательный рассказчик, но и как остроумец и шутник. Ради него девицы предоставили нам свою часть комнаты и согласились не приглашать собственных друзей.

Щадя чувства приятельниц, да и самого нежеланного гостя, было бы логично перехватить его еще у ворот. И на кого же можно было возложить такое поручение, если не на меня? Я вполне осознавал оба эти нюанса. И поступил, как было велено. Еще издали я крикнул ему: «Тебе здесь делать нечего!» Не говоря ни слова, он исчез во тьме.

Вместо того чтобы пойти с ним и после полунощницы в соборе провести рождественскую ночь в заснеженном парке, я присоединился к остальным, собравшимся в уютной ком-

нате, и в свете свечей задумчиво подтягивал песням о мировой душе, которые запевала Аннемари как хозяйка торжества: «О елочка, о елочка, с густой зеленой хвоей!», «Снежинки белоснежные, мы ждем вас не дождемся!» Когда мы допели до «Мы провожаем зиму / И не скрываем слез, / Нескоро к нам вернутся / Снег, санки и мороз», некоторые девушки стали сморкаться в платочки, быстро пряча их потом в рукава бумазейных блузок. Пахло лавандой. Если кто-нибудь спрашивал, где мой брат, Анне-мари с улыбкой отвечала: «Как вы видите, его здесь нет».

Дойдя до песни «Тише, кто стучит ко мне?», все невольно стали коситься на дверь. Михель Зайферт, не прекращая петь, встал со своего места и отворил дверь. Все замерло. Он крикнул: «Курт-Феликс, старина, а ну давай ноги в руки, да поторапливайся!» Как было бы хорошо, если бы он действительно вошел с непринужденным видом, рассмешил бы всех и все бы страшно развеселились! Но в комнату ворвались только снежинки, занесенные порывом ветра. Слышался только храп квартирной хозяйки, уже лежащей в передней комнате под пуховым одеялом и в сладких снах видящей ангелов в венцах из колбас и сосисок. Лавиния и Марика начали откровенно зевать, даже не прикрывая рот рукой, как будто нас рядом не было. Такое поведение однозначно свидетельствовало о том, что на нашем празднике им стало скучно.

Однако праздничная программа Аннемари еще не бы-

ла исчерпана. «Сейчас я прочитаю рождественский рассказ некоего Ханса Зайделя, пример возмутительного вздора. А вы выскажете о нем свое мнение». Она включила настольную лампу. Не успела она прочесть и нескольких предложений, как ее голос уже очаровал слушателей. Коротко говоря: в рождественский сочельник сани помещицкой семьи застревают в непроходимых сугробах. На помощь бросаются слуги, откапывают благородное семейство, экономка спешит с грелками и пуншем, дворецкий расставляет свечи на ветках елей вдоль обочины и зажигает их. И все поют рождественские песни.

Девушки решили, что история эта красивая и трогательная. Нотгер Нусбекер заметил: «Вполне в духе библейского послания». Он специализировался на доисторической эпохе, в особенности сосредоточиваясь на первобытном обществе и групповом браке: «Тут есть явное преимущество, не надо заниматься классовой борьбой».

– Важно все детально продумать и довести до логического конца, – решительно заявила Аннемари.

Все кое-как уместились на трех кроватях жилищ. Чтобы сэкономить место, некоторые юноши посадили своих подруг на колени. Свет свечей настраивал на элегический лад.

– Что так возмущает во всей этой истории?

Никто не отвечал, и Аннемари строго продолжала:

– Сразу понятно, что никто из вас не служил горничной и не батрачил в имении. По-моему, вопиющее безобразие, что

даже в рождественский сочельник эксплуатируемых заставляют заниматься подневольным трудом.

Паула Матэи, уроженка Кронштадта, студентка отделения минералогии, отец которой пропал без вести под Нарвиком и которая с трудом перебивалась переводами, сказала:

– Мой отец работал простым бухгалтером на фабрике Шмутцлера. У нас не было служанки. Но одно я могу сказать тебе совершенно точно: мы бы тоже бросились на помощь, забыв о домашнем уюте и наряженной елке, если бы узнали, что чья-то жизнь подвергается опасности, тем более на Рождество. Мы бы без всяких размышлений пробежали и до Танненау, целых пять километров, до виллы Шмутцлеров, если бы с ними что-нибудь случилось. У богатых тоже есть душа.

– Опять это расплывчатое, ничего не значащее слово!

– Но ты же всегда пытаешься рассуждать логически и всячески настаиваешь на существовании мировой души. Если уж душа есть даже у камня, то почему тогда не у капиталиста, если прибегнуть к модному выражению?

– Этот рассказик – то, что надо. Если у нас будут спрашивать, чем мы тут занимались, можем сказать: читали прозу в духе критического реализма, пели песни о зиме.

Аннемари объявила следующий пункт программы: присутствующие прочитают собственные стихи. Гунтер Райсенфельс, студент-медик, заметил, что кропание стишков – самое надежное средство от запора.

– Блажен, кому это по силам, – вставил Нотгер Нусбекер.

Михель Зайферт стал декламировать что-то меланхолическое. Он смело использовал оригинальные неологизмы, и потому зачастую в стихах у него появлялись смешные рифмы: «комар» он рифмовал с «пожар» и «удар», а «поэт» – с «привет» и «букет».

– И последний пункт: Ахим Биршток.

Студент-германист долго устраивался поудобнее, прежде чем начать чтение. Он долго передвигал туда-сюда по столу две свечи. Концы бровей у него были опалены. Короткие, они казались бутафорскими, наклеенными. Его называли Пьеро, и он добродушно с этим мирился. В предместье Моностор-Клосдорф он снимал комнату без электричества. Он готовился к занятиям и сочинял стихи, сидя меж двух свечей, почти касавшихся его лица. В порыве лирического вдохновения неожиданно поворачивая голову, он каждый раз едва не вспыхивал и точно так же грозил обратиться в факел, устало опуская голову на бумаги. В комнате у него пахло сожженными волосами.

– Сейчас мы услышим новый жанр, некий гибрид прозы и лирики, – ввела Аннемари в курс дела аудиторию. Ахим Биршток стал декламировать длинные предложения. Каждый раз, когда начинало казаться, что нам зачитывают прозаическое повествование, строка внезапно сворачивала в сторону стихов, а все в ней указывало, что она вот-вот обретет полноценную поэтическую форму.

– Чем сильнее запор, тем длиннее стихотворная строка, – заметил Гунтер Райсенфельс.

В остальном все слушали в почтительном молчании.

Потом мы пропели еще «Тихая ночь, святая ночь», и никто не стал возражать. Особенно ратовали за этот гимн Паула Матэи и соседки Аннемари Лавиния и Марика:

– Его же поют сейчас во всем мире, даже по-японски и по-цыгански! И у нас в стране везде, даже в Секуритате!

– Существуют два его перевода на румынский, – сказала Лавиния.

– И два на венгерский, а то и три, – добавила Марика.

– Это же христианский «Интернационал»!

Аннемари пришлось уступить.

Под конец мы исполнили саксонский гимн «Трансильвания родная, благодатная страна!». Все встали. Мы уже почти допели медленную, торжественную мелодию, как вдруг Нотгер затрясся в ознобе. Он резким движением воздел в воздух руки студенток, между которыми стоял, озноб начал охватывать и всех, кто был в комнате. Никто не мог ему противиться, даже Аннемари, прибежавшая ко всем логическим аргументам, лишь бы не затрястись вместе со всеми. Вся компания схватилась за руки, все дрожали, словно в пляске Святого Витта. Порыв ветра потушил свечи. Наконец, Нотгер, сопя, успокоился, с губ его слетали сгустки слюны. «Так первобытные люди изгоняли злых духов и отпугивали диких зверей». Горела всего одна свеча. Аннемари включила электри-

чество. Молодые люди и девицы, все еще сотрясаемые судорогами, без разбору сжимали друг друга в объятиях и целовались.

– Массовая истерия с симптомами пляски Святого Витта. Поцелуи – лучшее лекарство. Помогает снять возбуждение в нервных окончаниях.

И он вlepил Аннемари смачный поцелуй.

– Вообще-то так ведут себя квакеры, – возразила Элиза Кронер, которую судороги бросили в объятия Михеля Зайфферта. Когда он выпустил ее, она отерла губы тыльной стороной ладони.

Лавиния и Марика накинулись на Любена:

– А мы образуем балканский треугольник!

Любен весь вечер просидел молча, как привидение, как пародия на самого себя, и привлекал внимание окружающих, только когда с причмокиванием посасывал гнилые зубы. Они бы зацеловали его до смерти, если бы он не напустился на них с русской бранью, а русский язык всем в нашей стране внушал ужас.

*Házinéni*<sup>34</sup> постучала в дверь клюкой своего покойного супруга, которую каждый вечер брала с собой в постель. Мы гуськом выскользнули из дому.

Где же мой брат провел рождественский сочельник? Я не знал. В ту пору он обитал вместе с рабочими в еще не достроенном жилом доме, а я снимал угол в подвале у дряхлой

---

<sup>34</sup> Квартирная хозяйка (венг.).

графини Клотильды Апори. Так где же? Я так и не выяснил. Потом, встречаясь на улице, мы кивали друг другу, как случайные знакомые.

После раздачи подарков у Аннемари я проводил домой Элизу Кронер. Она сама об этом попросила. Мы шли вдоль бесконечной Страда Пата с ее маленькими одноэтажными домиками. Элиза отправила домой Любена, который следовал за нами как тень:

– Большое спасибо. Можешь меня не провожать. Обо мне позаботятся.

А обращаясь ко мне, сказала:

– Где твой брат?

По правде говоря, я должен был бы сказать, что не знаю. Но мне было стыдно признаваться в том, как мы с ним поступили. Она взяла меня под руку. Я осторожно повел ее по замерзшим лужам.

– Слушай, а что там с Любеном, с этим каменным гостем? Стоит где-нибудь собраться двоим-троим из наших, и он тут как тут. Если он уж учится в «Бойяи», так пусть и якшается с мадьярами. Если он действительно племянник премьер-министра Болгарии, значит, за ним следят, и тогда за нами тоже. А если не племянник, то еще хуже: значит, он шпион. Конечно, нам нечего скрывать. Но если Секуритате еще наши поцелуи начнет считать...

– Он безответно влюблен.

– В тебя.

– Кто любит меня, счастливо влюблен, – рассмеялась она.

– Тогда в кого?

Она секунду помедлила:

– В одну саксонскую студентку.

– Можно узнать в какую?

– Конечно. Она носит тирольскую шляпу с петушиным пером.

– Такая шляпа есть и у тебя.

– И еще у тридцати студенток.

– И потом он день за днем сидит у тебя на кухне под бельем твоей *Házinéni*...

– Иногда там висит и кое-что из моих вещичек, – сказала она.

– И устремляет на тебя взор, исполненный мировой скорби. А у себя на козлах располагается старуха и тупо на тебя косится.

– Мы с *Piros néni*<sup>35</sup> живем в кухне, экономим дрова.

– А тебя не смущает, что кто-то вторгается в твое личное пространство?

– Я никого не отталкиваю, но дистанцию в отношениях всегда устанавливаю сама.

Мы шли не спеша. На ней был фризовый жакет, бабушкино наследство, и сидел он на ней как влитой. Казалось, Элиза сошла со старинной фотографии. Юбка на ней была из толстой шерстяной ткани, и соткал ее собственноручно ее отец,

---

<sup>35</sup> Тетушкой Пирош (венг.).

доктор Артур Кронер, бывший директор фабрики, на допотопном ткацком станке, на котором еще дед учил внука этому ремеслу, пока их шерстоткацкая мастерская не превратилась в текстильную фабрику. Главным убором Элиза пренебрегала. Густые, пушистые кудри заменяли ей шапочку.

Я тоже ходил с непокрытой головой. Слишком гордый, чтобы даже в мороз надевать шапку, я кое-как спасался от холода, отрастив волосы, насколько позволяла партия: сзади до воротника пиджака, спереди – до бровей, по бокам – до верхнего края ушных раковин. Но не ниже.

Она просунула левую руку в мою перчатку:

– Какие теплые варежки! Уютно, как в стойле у пони!

Моя мама сшила их из брезента и подбила овечьей шерстью. На мне была ветровка, которую тоже смастерила моя мама из защитного цвета плаща, забытого у нас немецким офицером. Подкладкой моей куртке служила поношенная фланель из наследства фрекской тети Адели.

– Аннемари сама когда-нибудь запутается в своих неразрешимых противоречиях. Ее представление о человеке ложно. – И процитировала: «Не философский я трактат, / В душе моей и рай, и ад»<sup>36</sup>. Нельзя бесконечно рационализировать все на свете. В любые события постоянно вмешивается что-то, что нельзя контролировать, чего никто не ожидал и никто не хотел. Классический пример – наш сегодняшний

---

<sup>36</sup> Строки из стихотворного цикла «Последние дни Гуттена» швейцарского писателя и поэта Конрада Фердинанда Мейера (1825–1898).

вечер. Из Рождества получился шабаш ведьм.

– А как же объективные законы общественного развития? Противоречия между богатыми и бедными? Классовая борьба как движущий фактор мировой истории, существование которого легко доказать? А как же замечательная формула «бытие определяет сознание», с помощью которой можно объяснить все сферы человеческой жизни?

Он остановилась и посмотрела на меня:

– Противоречий бесконечно много. Остерегайся сводить все многообразие жизни к формулам. Иначе будет больно!

Мы подошли к домику, где она снимала комнату, и остановились в тусклом свете уличного фонаря.

– Мне кажется, это Аннемари выставила за дверь твоего брата.

Я кивнул.

– А у тебя не хватило смелости уйти вместе с ним.

На глазах у меня выступили слезы.

– Мне пора, я побегу, – поспешно сказал я, – а то моя графиня без меня замерзнет. Мне надо подбросить дровишек. Она почти ничего по дому не делает, думает, что кости рассыплются от остеопороза.

Я выпаливал все это, словно на исповеди. Мороз накиннулся на нас тысячей белых иголочек. Дыхание стыло, изо рта то и дело вылетали облачка пара. Мы хотели было разойтись, но Элиза не выпустила руку из моей варежки, и я не смог отереть слезы с глаз.

– А чем дама занимается целый день?

– Считает дни.

– Которые ей еще остались?

– Нет, дни, тысячи дней, которые провел в венгерской тюрьме кардинал Миндсенти со времени своего ареста в сорок восьмом. И часами молится о его освобождении. И так греет руки в митенках без пальцев.

– А почему же она рукавицы не наденет?

– Чтобы молитва возымела действие, нужно, чтобы соприкасались голые пальцы. Кстати, по утрам у нас так холодно, что оконные стекла покрываются инеем. Но она никогда не жалуется. Она убеждена, что кардинал будет освобожден ее молитвами.

– А сегодня, в сочельник, она одна?

– Нет, у нее соберется венгерский *Haute volée*<sup>37</sup> во главе с Ее Сиятельством княгиней Кларой Пальфи. Ее предок был правителем Трансильвании. Дама просто боевой конь. Она всегда выходит на улицу, вооружившись венгерским шестопером своего мужа. Княгиня объяснила мне, как этим оружием пользоваться: его вонзают противнику в живот, пробивают брюшину, загоняют наконечник как можно глубже во внутренности, а потом несколько раз поворачивают рукоять, чтобы накрутить вырванные кишки на «перья».

– Какая гадость! Но где они живут, эти венгерские аристократы? Как живут?

---

<sup>37</sup> Здесь: Высший свет (франц.).

– Кого власти не депортировали, того выселили по большей части в подвальный этаж собственного бывшего дворца. На что живут? Не на что, а чем: воспоминаниями. И потом трогательно видеть, как крестьяне, которых они когда-то разорили, заботятся о своих прежних господах. К моей графине почти каждую неделю приходит из деревни старушка, преклоняет перед ней колени, целует ей кончики пальцев, всячески ее ободряет и приносит немножко лакомств. Загляни ко мне как-нибудь. Сможешь поговорить с моей графиней по-английски и по-французски. И тем более по-немецки.

– Приду.

– Когда?

– Нежданно-негаданно.

– Венгерские аристократы встречаются регулярно. И поддерживают друг друга. В любой жизненной ситуации они сохраняют самые утонченные манеры, обращаются друг к другу, используя все титулы, никогда не утрачивают самообладания. Любопытно, что супруги всю жизнь называют друг друга на «вы». Но если они вдруг обнаруживают какого-то своего родственника, то тотчас же начинают обращаться к нему на «ты». Они питаются йогуртом и сухими ржаными хлебцами. В пять пьют отвар яблочных шкурок или ореховой скорлупы. Когда они собираются у нас в подвале, меня тоже приглашают. И я чаще всего не отказываюсь. Нужен же им кто-то, чтобы прислуживать за столом. Моя бабушка – венгерская словенка.

– А что они делают, когда собираются?

– Рассматривают старые фотографии. Иногда играют в штос. И никогда не говорят о режиме.

– Из осторожности?

– Нет, из презрения. Тетя Клара с шестопером полагает, что их презрение к нынешней власти лучше всего описывается немецким оборотом «*jemanden keines Wortes würdigen*» – «не удостоить кого-то и словом». Или фразой «*es ist nicht der Rede wert*» – «об этом и говорить не стоит». Если о чем-то не говорить, это «что-то» перестанет существовать, а значит, перестанет причинять боль. Да, и вот еще одна странность в их поведении: они никогда никого не хвалят.

– Почему? Похвала же полезна, она вселяет мужество, повышает самооценку.

– Для них это оскорбление. И они по-своему правы: похвала предполагает, что что-то могло быть и хуже.

Я неожиданно произнес:

– Мне пора. Что ж, тогда счастливого Рождества! И до свиданья!

Она вытащила руку из моей варежки.

– Я бы пригласила тебя к себе, но старуха меня уже подстерегает. Только что включила свет.

Почему Аннемари Шёнмунд захотела, чтобы я соблазнил ее именно тридцать первого марта? А не первого мая, в День мира и труда, или не позднее, на Троицу, когда нисходит

Святой Дух, и делается «шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра», и являются «разделяющиеся языки, как бы огненные»?<sup>38</sup> Не знаю. Я всячески откладывал осуществление ее замысла. Я опасался разочарования, которое непременно должно было за ним последовать, боязни пустоты, на которую я буду отныне обречен всю свою жизнь, кажется, она именуется *hoghog vacui*. Когда я это испытаю, что же останется от тайн, загадок, оттенков, присущих одним лишь мечтаниям? Только смерть.

Она была старше меня. И потому выбрала тридцать первое марта. По какой причине? Возможно, по календарному методу Кнауса-Огино это были безопасные дни месяца, когда зачатие невозможно и исполненные радостных ожиданий влюбленные могут предаться страсти.

Это произошло на голой земле, – ни цветочка, ни зеленой травы. На широкой поляне мы не смяли ни единой былинки. На пустыре на севере Клаузенбурга, неподалеку от вокзала и фабрик, высоко над городом. Небо затемняли облака дыма, в воздухе чувствовался запах сернистого газа. Мы шли, не держась за руку, а друг за другом. Меня она отправила вперед. Кое-где вздымались голые деревья. На горизонте выделялись расплывчатыми пятнами деревни, названия которых нам ничего не говорили. Лай цепных собак и звон полуденных колоколов нас не трогали. Ведь внизу открывался вид на пейзаж нашего детства – ту обрамленную лесом холми-

---

<sup>38</sup> Деяния Святых Апостолов (2:2–3).

стую местность в предгорьях Южных Карпат между Хонигбергом и Мюльбахом, Штольценбургом и Кронштадтом, а на ней раскинулись наши города с высокими остроконечными башнями и деревни с укрепленными наподобие замков церквями.

Наконец показалась опушка леса. В просветы между деревьев ветер нанес сухие листья. Я молча указал на небольшую лощину, устланную осенней листвой и обращенную на юг. «Тебе лучше знать, ты же мужчина», – сказала она и начала раздеваться. Освещаемое неярким солнцем, это убежище не оставляло места для нежности и страсти. При каждом движении шуршала опавшая листва, а со дна лощины веяло гнилой сыростью. Неудобно устроившись на ее американском плаще, мы ощущали неловкость. Мы поеживались от холода.

Ее нагота стала для меня откровением, и я, потрясенный, не в силах был на нее смотреть. Обнаженный таз с опущенным рыжеватыми волосами венериным холмом светился как цветок подсолнечника, большие, красивые груди, которые мне до сих пор не приходилось видеть, свесились набок, неприкрытые и беспомощные. Она не открывала глаз. Лицо ее со строгими дугами бровей и ресниц и плотно сомкнутыми губами напоминало нарисованную поверх реальных черт маску. Я тоже зажмурился от ужаса и стыда.

А ведь мне стоило бы следить за сузившимся горизонтом над краем нашей ложбины, вдруг покажутся «третьи лиш-

ние», от которых лучше было бы укрыться понадежнее: браконьеры со своими отученными лаять собаками, милиция, появляющаяся как из-под земли именно тогда, когда в ней нет нужды, цыганки, жаждущие погадать тебе на картах, пастухи, равнодушно плетущиеся со своими стадами мимо репейников и влюбленных. К тому же мне надо было мысленно разделить правила искусства любви и правила ее техники, в равной мере почерпнутые теоретически, из книг. «Надеюсь, ты все это основательно изучил!» И не в последнюю очередь надо было учитывать каталог ее желаний и требований: в мои обязанности входило обеспечить любовные игры и накал страсти одновременно нежно и пылко. Да, и наконец, на меня возлагалась ответственность за пробуждение мировой души в этот звездный час.

А она лежала отрешенно, в своей неподвижности и нагоде являя божественное зрелище. Она не подавалась мне навстречу ни единой выпуклостью своего тела. Она предоставила меня самому себе. Я не знал, что делать. Постепенно мы слепо, неловко и смятенно занялись тем, что я столь добросовестно подготавливал и что мы хотели воплотить, как чудо. Кое-как, с грехом пополам, мы преодолели трудности, и все случилось совсем не так, как мы воображали.

Возвращаясь домой в сумерках, никто не проронил ни слова. Время от времени мы стряхивали с одежды прелый прошлогодний буковый лист. Мы шли друг за другом, каждый по-своему переживая физическую и душевную травму.

Упрекать меня она начала много месяцев спустя, вернувшись из Кронштадта, куда ненадолго ездила хоронить любимого пса Булли. Ее мать не могла одна справиться с такой задачей.

Уже на вокзале в Клаузенбурге, по прибытии поезда около полуночи, Аннемари стала демонстрировать дурное настроение. Она начала сетовать, что я встретил ее «бесчувственно и бездумно». Как прикажете это понимать? Она имела в виду, что я недостаточно стремительно бросился к ней на перроне, чтобы взять чемодан? Или что я не сразу принялся утешать ее скорбящую душу? Стоило мне ее увидеть, как неизменно случалось одно и то же: я терял голову. Она – никогда. Она выражала недовольство, а я был очарован ее прелестью.

Как хорошо все складывалось после неудачного начала в марте! За недели обучения она обнаружила чувственность, которая с каждым разом все более разгоралась и охватывала меня, как пламя, ведь это я пробудил ее. В саду ее квартирных хозяев, у куста жасмина, под сиренью, поздно вечером, когда ее соседки по комнате Лавиния и Марика в воротах со смачными поцелуями и хихиканьем отправляли восвояси своих кавалеров, когда в последний раз прошумела вода в уборной и пророкотал сливной бачок, когда наконец гасили свет и дом погружался во тьму, наступал наш час. Мы целовались, как ангелы, и предавались страсти, как разбойники. На садовой скамье разыгрывались сцены, исполненные жадного сладострастия. Сирень цвела, как одержимая, жасмин

сводил с ума чувственным ароматом.

Иногда у нее вырывались восторженные стоны. Однажды моя возлюбленная достигла столь блаженного самозабвения, что, невольно перейдя на грубый диалект своего детства, крикнула: «Иезус-Мария-Иосиф, косточки-то!» На жесткой садовой скамье у нее заныл копчик. Оскандалившись, скатившись до жаргона неграмотных крестьян, она стала мне еще дороже, подобно тому как еще милее делала ее в моих глазах легкая косинка.

Однако из Клаузенбурга с похорон пса она сейчас вернулась в весьма раздраженном состоянии. По пути с вокзала до ворот своего дома она только и делала, что упрекала и обвиняла меня во всевозможных грехах. Она исчезла в доме, не попрощавшись, а я так и стоял, глядя ей вслед. Я уже было собрался уходить, как вдруг она выскользнула из дому, в халате и босиком. Она повела меня в садовую беседку в кустах жасмина, от запаха которого кружилась голова.

– Так ты не веришь, что у камней есть душа и что они вскрикивают от боли, когда мы на них наступаем? – недовольно спросила она.

Я хотел было односложно ответить: «Нет», – но вместо этого невольно произнес:

– Мне трудно в это поверить.

– А ведь на свете существует не одна только бесцветная мировая душа.

И тут она высказала мне все давно наболевшее: он-де ли-

шилась невинности совершенно прозаическим образом, к тому же в марте, в бесприютном пейзаже, на голой земле, не испытав экстаза, абсолютно банально, технически несовершенно, – и все это она внезапно осознала на погребении Булли. Она сидела на деревянной скамье, прислонившись к спинке боком, ночной ветер раздувал халат у нее на коленях. Я оперся на садовый забор. Ей якобы не хватало таинства соития.

– А куда же исчез такой фактор, как иерогамия? Я не ощутила ничего, хоть сколько-то напоминающего восторг священного брака неба и земли, прообраза всякого совокупления.

И все это мне приходилось выслушивать светлой ночью.

– Действительно, этого недоставало, – малодушно согласился я. – И еще кое-чего, – мужественно добавил я. – Ведь любовь, как и вежливость, должна быть обоюдной.

Ее нынешнее поведение совершенно не было на нее похоже. Неужели она получила письмо от Энцо Путера и руководствовалась его инструкциями? Неужели она доверилась ему полностью? Я резко развернулся и хотел было уйти. Но она вскочила со скамьи, преградила мне дорогу, прижалась ко мне и, не выпуская меня из объятий, шаг за шагом стала теснить меня к скамье. Сквозь халат я почувствовал жар, исходящий от ее кожи. Под тонким клочком ткани она была обнаженной, с головы до ног, от возбужденных сосков до выпуклого холмика. Я стал сопротивляться. Даже расстегнув и

совлекши с меня рубашку, поспешно и нежно, она не могла подчинить меня. Ничто не изменилось, когда она ступней ласково погладила меня по коленям. Но, когда она утратила всякую власть над собственными руками и те скользнули в тайное средоточие моего тела, я прошипел: «Только не так, господин барон!» Она, содрогнувшись, отпрянула. В гневе она наклонилась, подобрала с земли мою рубашку и, не долго думая, перебросила через забор. И разодрала свой халатик рывком, сверху донизу. Ветер зашумел в древесных кронах. В отблесках потревоженных листьев ее живот отливал мертвенной бледностью, а груди излучали зеленоватое мерцание. Я же бросился через кусты к воротам, оставив ее в неумолчно шепчущей ночи, в одиночестве, в растерзанном одеянии.

Полураздетый, я направился в свою каморку и в таком виде пробежал не одну улицу. При каждом шаге у меня под ногами рыдали камни.

Во время завтрака ко мне в камеру заталкивают нового «постояльца». Не успел он снять очки-заслонки, как уже поворачивается к окну под потолком, втягивает носом воздух и объявляет: «Выпал снег». Мы здороваемся, как полагается, обменявшись рукопожатием, громким шепотом сообщаем друг другу свои имена. Он бросает узелок на свободную койку:

– Откуда вы знаете, что выпал снег?

– Просто носом чую, я же егерь.

Егерь, охотник? Я об этой профессии ничего не знаю, кроме охотничьих рассказов... Украдкой разглядываю нового соседа. Лицо у него бледное, значит, в заключении он уже давно. Он в домашних тапочках. Выходит, его перевели сюда из другой камеры.

Он начинает раздраженно бегать рысцой туда-сюда между койками. Освобождая ему место, я протискиваюсь в угол рядом с ведром и замолкаю. Когда один молчит, оба пребывают в одиночестве. Что его так взбесило? Ну, не я же. Может быть, когда ему приказали: «С вещами на выход!» – он решил, что его освободят? На ходу он тычет в меня пальцем и спрашивает:

– Венгр?

– Трансильванский саксонец.

– Надо же, сюда даже кроткие саксонские овечки попадают? Моя жена из ваших, чистокровная.

Тем самым лед сломан. Он еще раз подает мне руку, коротко обнимает меня, садится. И тут же незамедлительно излагает мне всю свою биографию. Родился он в Медиаше. Его отец служил придворным капельмейстером в замке Пелеш, летней резиденции короля в Синае.

– Высокая, почетная должность. Играть перед его величеством моему отцу приходилось только летом. Зимой он томился от скуки. Потому-то все дети у нас в семье родились в мае и в июне. Когда король Фердинанд и королева Мария приезжали из Бухареста в свой летний замок, их непременно уже поджидал ребеночек. Царственная чета и многие аристократы крестили нас всех.

Мать его была дочерью придворного садовника, настоящей немкой из Германской империи. Однако ни он сам, ни его шестеро братьев, ни единственная сестра не выучили этот язык.

– Жалеть об этом или радоваться, сейчас непонятно. Знаешь ты немецкий, не знаешь, все равно окажешься здесь.

Он неподвижно устался на каменный пол, между койками вытоптанный до желобка.

– Но обе мои дочери, Ленуца и Петруца, двух и четырех лет говорят с матерью по-немецки. Девочки родились в один и тот же день в феврале, только с разницей в два года. Меткий выстрел, вот какой я молодец! Жена Гермина, по обра-

зованию библиотекарь, в городской библиотеке Медиаша ве-  
дает детскими книгами на немецком языке. А отец ее – из-  
вестный пьяница. В нем души не чают все городские выпиво-  
хи вне зависимости от нации и религии, как предписывает  
пролетарский интернационализм. В семье его не столь ува-  
жают, зато внуки от него без ума. С точки зрения марксиз-  
ма мой тесть принадлежит к люмпен-пролетариату Медиа-  
ша. Из числа саксонцев не вышли настоящие пролетарии,  
слишком уж чистенькая публика. А сейчас об это жалеют.

– У меня тоже был такой родственник, двоюродный дед  
из Германштадта, разорившийся дворянин. Его простой на-  
род не то что ценил, а просто обожал, а когда он умер, бед-  
няки выстроились по обеим сторонам улицы, провожая его  
в последний путь, и кричали на трех языках: «Виват!» Он  
доживал свой век в богадельне.

– Вот видишь, люмпен-пролетарием каждый может сде-  
латься.

Он достает из кармана рубашки засохшую яблочную ко-  
журу и показывает мне отпечатки, оставленные двумя пара-  
ми детских резцов разного размера.

– Когда меня арестовали, жена сунула мне яблоко. Я дал  
дочкам от него откусить. Вот и все, что осталось мне от них  
на память. – Едва он называет их имена, как глаза у него на-  
полняются слезами. – Из-за одних только девочек я во что  
бы то ни стало должен вернуться. Сейчас они еще малень-  
кие, славные, так меня любят. А уже годам к семи научатся

притворяться и дерзить. Тогда уже будет все равно, выйду я или нет.

Он снова замолкает, явно борясь со слезами.

Я перевожу разговор:

– Вы не ослышались. Саксонцы здесь тоже содержатся. Но меня арестовали по недоразумению.

– Я тоже в первые недели предполагал, что меня взяли по ошибке. А сижу здесь уже с октября. Кто к ним в руки попадет, того уж они не отпустят.

Тотчас же после войны, которую Румыния то ли проиграла, то ли выиграла, девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года Влад Урсеску вступил в Коммунистическую партию, едва достигнув восемнадцати. По профессии он фрезеровщик, простой рабочий по металлу, платят ему сдельно, после того, как восемь часов за станком простоит, а то и дольше. Вполне могу в это поверить, ведь он демонстрирует мне свои варикозные вены. Но вот как партийный активист он тринадцать сельскохозяйственных производственных кооперативов создал с нуля, да еще и быстро. А попутно подстрелил триста тридцать четыре кабана.

– Для нашей партии я был просто находкой. Ведь кабанье мясо отправлялось прямиком в национализированные холодильники Ноймаркта-на-Миреше. Там его замораживали. Когда требовалась валюта, обледенелых ископаемых продавали капиталистическому Западу.

Он входит в число немногих, кому народная республика

присудила звание заслуженного охотника. В районе Медиаш он полновластно распоряжался любой псовой охотой. Его слушались все стрелки вплоть до заключительного свистка, не важно, об охоте шла речь или о питье, – все как один, даже гарнизонный командир, *Colonel*<sup>39</sup>, и начальник медиашского отделения Секуритате, майор. Разумеется, рано или поздно это должно было плохо кончиться. Урсеску отобрал у шефа Секуритате бутылку шнапса, к которой тот хотел приложиться, когда все стояли на номерах, еще до первого выстрела, и после этого пробыл на свободе всего день. Его арестовали прямо у станка. При обыске в его комнате на подоконнике нашли семь патронов для дробовика, не зарегистрированных в Секуритате. Тем самым его вина была доказана.

Нам обоим предстоят тихие выходные. Я провожу в КПЗ уже вторую субботу. После обеда нас отводят в душ, потом бреют. Два свободных дня пролетают быстро и незаметно. Охотник говорит без умолку. О дочерях и о других родственниках он повествует печально, словно поп, поминающий усопших в конце службы. Он говорит, чтобы облегчить душу. Я слушаю. И время от времени про себя читаю наизусть что-то из репертуара, накопленного за годы раннего детства и учебы в школе. Спасибо тем, кто заставлял меня учить наизусть! Благочестивой бабушке, лирической учительнице Эссигман, вдохновенному пастору Штамму, маме с ее тонким эстетическим вкусом и нашей преподаватель-

---

<sup>39</sup> Полковник (рум.).

нице французского и румынского Адриане Рошала. Немецкие баллады, румынские средневековые эпические поэмы, французский «Отче наш», псалмы, Лютеров катехизис, Нагорная проповедь: «Блаженны нищие духом». Я очень обязан и бывшей возлюбленной, ведь это она открыла для меня стихи Райнера Марии Рильке.

По воскресеньям дают жаркое с картошкой и рисом. Мясо сладковато на вкус.

– Что бы это могло быть?

– Победа социализма, – откликается охотник. – Это конина, добрый знак, выходит, механизация сельского хозяйства завершена. В наших колхозах лошадь дешевле колбасы. Но мой старший брат Нику из Медиаша будет этим недоволен. Он служил в кавалерии майором.

Дни проходят. Нет, они не проходят, ведь время подстерегает нас, наваливается всей своей тяжестью. Розмарин и майор правы: если хочешь выжить, научись его убивать. А не то оно само тебя убьет.

Мой сосед разыгрывает передо мной весьма эффектные облавные охоты. Очень часто его рассказы длятся не меньше, чем сама погоня и травля зверя в лесу и на лугу. Он умолкает только вечером. Он не торопится, времени-то хоть отбавляй, вот оно – стоит вокруг нас в мешках.

После завтрака в нашей камере собираются охотники с собаками. Влад Урсеску шепчет: «У-лю-лю!» И дикая охота срывается с места, устремляясь в какое-то иное время. Пред-

ставление настолько захватывает меня, что границы между камерой и свободой исчезают, они сливаются. Но где-то на самом дне моего сознания все-таки брезжит неумолимая мысль, что мы отрезаны от мира. И пока охотник в зеленом лесу стреляет дичь, какую ему заблагорассудится, меня преследует строфа из «Леноры» Бюргера: «И летом, летом легкий рой / Пустился вслед за ними, / Шумя, как ветер полевой, / Меж листьями сухими»<sup>40</sup>. Вот, наконец, и смертельный выстрел: охотник поднимает несуществующее ружье и прицеливается в меня. Вот и все! Вот и зловещий финал, пробуждение. Для нас не звучит трубный зов, провозглашающий конец охоты, она не сменяется сказочным пиром, за которым мы могли бы сойтись и веселиться до рассвета, пока не навалятся на нас опьянение и сон, нет, охота скрывается от наших глаз в кровавой дали.

Мы едины в одном: нам хочется поскорее отсюда убраться. Он жаждет вернуться к жене и детям. А я? Десятая годовщина основания республики не принесла с собой амнистии. Поэтому на сцене должен появиться легендарный генерал, без которого не обходится ни одно румынское семейство, будь он друг, крестный отец или родственник.

По словам господина Влада, друг юности его отца дослужился до генерала Секуритате. Он вступится за невиновного. Для этого-де есть все основания: прежде всего несправед-

---

<sup>40</sup> Пер. В.А. Жуковского. Речь идет о сонме призраков, составляющих свиту умершего жениха героини.

ливость, причиненная охотнику, потом вред, который неизбежно будет нанесен отечеству, если такого меткого стрелка и дальше станут держать в неволе. И не в последнюю очередь воспоминания юности... Отец Влада и не называемый по имени друг его отца начинали свое военное поприще в чине младших лейтенантов королевской армии. Однако Урсеску-старший не понял объективных законов, согласно Сталину, управляющих ходом истории. Поэтому он стал королевским капельмейстером и ушел в отставку с придворной службы в чине капитана, еще до того, как свергли его сиятельного работодателя Кароля II. Друг его юности, напротив, перешел в военную разведку и потому заранее знал, что грянет и чего ожидать. После того как его повесили в звании до генерала тайной полиции, друг семьи перестал открыто навещать означенную семью. Даже на похоронах отца Влада его ждали напрасно. Почетное место рядом с попом на поминках осталось пустым. Однако он передал скорбящим слова соболезнования через одного члена медиашского Союза любителей карликовых кур.

Кроме того, высокопоставленный военный нередко участвовал в охотах в медиашском лесничестве, ни одеждой, ни оружием не отличаясь от прочих. И беспрекословно подчинялся распорядителю охоты Владу Урсеску. Во время одной из грандиозных облавных охот наш егерь все устроил так ловко, что высокий гость из Бухареста уложил сразу трех кабанов: одного секача и двух свиней. В благодарность за удав-

шееся развлечение несколько дней спустя нарочный из Бухареста доставил прямо к дверям начальника охоты корзину с дюжиной крымского шампанского. Поскольку комната, которую он занимал с женой и дочерьми, была слишком тесной, он откупоривал бутылки пенного напитка во дворе. Хлопанье пробок слышали даже на саксонской колокольне. Праздник братания со всеми народностями, проживающими в доходном доме, так и забил ключом. «Даже цыгане так напились шампанского, что у них из ноздрей и из ушей пузыри пошли!»

Генерал не стал возражать против того, чтобы егерь регулярно присылал ему на Новый год лучшие части свежедобытой кабаньей туши, присылал по почте большой скоростью с пометой «Корм для птиц. Отправитель: Союз любителей карликовых кур». Имени генерала егерь не знал. Оно осталось государственной тайной. Однако бухарестский конспиративный адрес ответственный за карликовых кур в Медиаше помнил наизусть.

– Наверняка найдется кто-нибудь, кто поведаст генералу о моих злоключениях. Однако сотрудники учреждения, где мы сейчас находимся, тщатся этому помешать.

Он угрожающе указывает пальцем куда-то вверх, на расположенные выше этажи. Осенью, спустя несколько недель после его ареста, этот самый генерал обошел с инспекцией все камеры предварительного заключения, не заглянул лишь в грустное пристанище егеря.

– Совершенно очевидно, что эти, наверху, делают все, чтобы наша встреча не состоялась. По-моему, это убедительно доказывает, что генерал может вытащить меня отсюда.

– А откуда вам известно, что это был именно ваш генерал? Вы ведь даже его имени не знаете.

Егерь отвечает, ни секунды не помедлив:

– Такие вещи всегда знаешь. Рано или поздно в тюрьме все разъяснится. Наш генерал и тебя вытащит. Ты ведь тоже невиновен.

Что же мне, радоваться? Или, скорее, удивляться? Я так и вижу, как металлическая дверь распаивается, в нашу камеру, блестя эполетами и звеня шпорами, заходит генерал, обнимает и целует егеря и даже мне подает руку. И раздраженно осматривается: «Какое убожество!» – а затем пренебрежительным жестом приказывает конвоиру взять узелок егеря. Вижу, как они уходят в широко распахнутую дверь. И я за ними следом!

Гремят засовы. В камере появляется не генерал, а всего-навсего конвоир. И препровождает меня на допрос.

– Вам надо сосредоточиться, – говорит майор.

Сосредоточиться? Меня тревожит то обстоятельство, что, когда отворили дверь камеры, я вскочил и, следуя предписаниям, отвернулся лицом к стене – впервые с тех пор, как меня сюда привезли.

– Вам сегодня потребуется все ваше внимание, вся ваша

концентрация. Речь идет о чрезвычайно важных вещах.

– Мне все труднее сосредоточиться. Меня преследуют навязчивые идеи, я слышу голоса. Я неотступно вижу какие-то ужасные картины.

– Например?

– Например, не могу отделаться от «Леноры», – глухо произношу я. – От «Леноры» Августа Бюргера. Его первое имя, «Готфрид», я опускаю, уж слишком благочестиво оно звучит<sup>41</sup>. Ужасное стихотворение, все эти сонмы призраков, которые в нем описаны, так и носятся по моим извилинам, пока они не раскалятся.

Я пытаюсь остудить закипающий мозг, запуская дрожащие пальцы в волосы.

– Мистическое стихотворение, феодальная лирика. Не для читающего рабочего, – журит меня майор. – Впрочем, мастерски переведено на румынский.

– Стефаном Октавианом Иосифом. Румынская поэзия испытала влияние не только Франции, она точно так же прислушивалась к немецким голосам. Величайший лирик, когда-либо писавший по-румынски, Эминеску, чувствовал себя как дома в Берлине и в Вене, господин майор. А комедиограф Караджале умер в Берлине.

– Русские, русские – вот величайшие образцы прошлого и настоящего, – поучает меня майор.

– Русские, господин майор! В детстве нас ничто так не

---

<sup>41</sup> «Готфрид» означает «мир Божий».

пугало, как угроза «Вот придут русские!». И они пришли. Я был уверен, что они сразу же всех нас вырежут.

– Страх – плохой советчик, – глухо произносит майор.

– Конечно. Но если вы, господин майор, действительно хотите привлечь нас, саксонцев, к делу социалистического строительства, то вы должны учитывать этот страх. Все события, происходившие после осени тысяча девятьсот сорок четвертого, неизгладимо врезались в нашу память. Ужас. Смерть. Не молниеносная, мгновенная, как я боялся в детстве, а постепенное умирание. Кстати, всякая истинная философия начинается с вопроса о смерти.

Неподвижная маска на его лице словно оживает. Он язвительно спрашивает:

– Выходит, диалектический материализм – это не философия? – И задумчиво отвечает сам себе:

– Вы правы. В нашем мировоззрении нет места смерти.

– Вот потому нелегалы, подпольщики обоюбого пола, презирают смерть и отличаются невероятным мужеством, – вежливо добавляю я.

– Нет-нет, – пренебрежительно произносит он, – Вам этого не понять. Мы и нам подобные не любим думать о смерти.

– Это заметно по советским фильмам, – вырывается у меня. – Смерть, уход из жизни, похороны всегда показаны эстетически неубедительно.

Я кошусь на него. Он молчит.

– Но послушайте, *domnule maior*<sup>42</sup>, как с нами поступили после войны. И тогда поймете, почему мы такие, какие мы есть.

Майор молча смотрит на меня, его желтоватое лицо совершенно неподвижно. А я тем временем повествую о том, на какую судьбу нас обрекли, возложив на нас коллективную вину за участие в войне. Я говорю и говорю, я не могу остановиться, описывая наши бедствия, не раздумывая, не ссылаясь на Маркса и Энгельса, забыв о Секуритате, не пытаюсь загнать правду в догмы материалистической диалектики. У меня на глазах словно вырастает гигантское жестяное дерево не в цветах и плодах, а сплошь в горе и ужасе.

– Моего отца в январе тысяча девятьсот сорок пятого угнали в Россию, хотя он был уже старше положенного возраста и служил в румынской армии. Мужчин и женщин в лютый мороз побоями сгоняли в вагоны для скота. И всех депортировали в Россию, простите, в Советский Союз, не разбирая, безземельные крестьяне это или фабриканты, поддерживали они Гитлера, или безучастно смотрели на его злодеяния, или протестовали.

Почему он не скажет: «Я все это знаю?» Он не говорит. Я поспешно продолжаю:

– Когда моя мать на вокзале в Фогараше, не сдержав возмущения, закричала, что с людьми обходятся, как со скотом, русский офицер приказал бросить ее в следующий ва-

---

<sup>42</sup> Господин майор (рум.).

гон. Мне удалось ее увести, а жандармы нас защитили. Ирония в том, что в руках она держала отпускное свидетельство, выданное на имя моего отца полковником Руденко, русским военным комендантом Фогараша. Эта бумага пригодилась матери только для одного: помахать вслед уходящему поезду. А отцу оставалось только утешать себя мыслью, что он мог быть освобожден, пока его угоняли в Россию, где он чуть было не замерз и не умер от голода. Как же прикажете тогда мне, подростку, относиться к Советам? Как к освободителям человечества, стоящим на страже добра и милосердия?

Я разгорячился и опасаюсь, что офицер вот-вот с проклятиями меня перебьет, не дав выговориться, рассказать о наблевшем.

– После массовых депортаций в январе остались старики да дети. Той же весной у крестьян отняли землю, выгнали со двора, и все это не под предлогом восстановления классовой справедливости, а в наказание пособникам Гитлера, не важно, поддерживали они его или нет.

Майор меня слушает? Он молча смотрит в стену.

– Вы позволите поведать вам, как сложилась судьба моей тети Адели из Фрека, одинокой старой девы? Новые владельцы ее бывшего дома не собирались работать, в их планы входило только пожить в свое удовольствие. У целого семейства – у мужа и жены, чад и домочадцев, у дряхлого старца и младенца – на уме было только одно: опустошить весь дом. В кладовке и погребу все съели подчистую, мебель распродали

или сожгли, как и все, что не приколочено. В кухне они положили на пол металлический лист и разводили на нем костер, а вместо дымохода пробили дыру в потолке. Огонь они поддерживали всем, чем только можно, от барочного комода моей тети до гамаш дедушки. Они изрубили на куски даже оконные ставни, как это ни глупо, ведь так они лишились защиты от холода. После этого они выдолбили из стен деревянные дверные рамы и сожгли. В гостиной над погребом они пропилили дыру в полу и справляли туда нужду. А съев все, что можно, спалив в костре все, что можно, загадив дом так, что смрад ощущался даже на улице, они убралась во свояси. Заодно украв все, вплоть до соломенной шляпы-канотье из Триеста, оперного бинокля из Будапешта и зонтика от солнца с островов Фиджи. Все это тетя описала на последних страницах фамильной Библии.

Майор невозмутимо слушает.

– Теперь, когда у нас есть такой опыт, вряд ли стоит ожидать, что мы начнем кричать «ура», заговорим об освобождении и станем на сторону социализма. Должно пройти немало времени, чтобы мы это забыли. Здесь требуется не только просветительская работа. Нужны меры, чтобы завоевать наше доверие, чтобы каждый почувствовал, что и он – часть новой общности.

Майор молчит, я продолжаю:

– Наоборот, хотели мы того или нет, нас стали всеми силами превращать в немцев, нас словно коллективно заклей-

мили позором, подобно тому, как в тридцатые годы, не спросив, скопом сделали частью Великой Германии. Поэтому вас не должно удивлять, господин майор, что основные труды национал-социализма, «Майн Кампф» и «Миф двадцатого века» Розенберга, я прочел только после тысяча девятьсот сорок пятого года. Позднее под влиянием пастора Вортмана я обратился к социалистической литературе. И осознал, что мы не немцы, просто немецкий – наш родной язык, как у швейцарцев и австрийцев. Я спрашиваю вас, что же будет в этой стране с нами, с теми, кто лежал не в той колыбели, с теми, кого не так пеленали?

Высокопоставленный сотрудник органов молчит, не желая вступать в разговор.

– Такая же судьба постигла в Третьем рейхе немецких евреев: однажды утром они проснулись и обнаружили, что отныне они еврейские евреи. И по большей части не знали, чего от них требуют. Их вынудили быть евреями в куда большей степени, нежели они когда-либо себя ощущали.

– И были отправлены в газовые камеры! – строго возражает он. – Объединять евреев и немцев, сравнивать их судьбы – это кощунство. Вы, саксонцы, ощутив себя немцами, прекрасно знали, чего от вас потребуют, и с радостью на это согласились!

– Простите, – говорю я, – я ограничусь только своими соотечественниками. Нас на каждом шагу проклинали как пособников Гитлера и фашистов. Когда я катался на санках,

с меня сорвали лыжную шапочку, потому что похожие головные уборы носили немецкие альпийские стрелки, а с моего брата стянули пуловер с норвежским узором, потому что он слишком напоминал о пристрастиях прошлого режима ко всему германскому. Нам даже хотели запретить носить короткие штаны!

Но не успел я это произнести, как уже понимаю, что ответит мне офицер за письменным столом: «Что это по сравнению с теми страданиями, которые вы принесли другим народам?»

Он невозмутимо слушает дальше.

– А теперь о последнем, что я испытал на собственной шкуре и что произошло с моей семьей. Это я еще только пенки снимаю, господин майор! В ноябре тысяча девятьсот сорок восьмого мы сидели за столом и ужинали, – мой отец, только что вернувшийся из России, мама, мы, трое мальчиков, и маленькая сестренка, – как вдруг в комнату ворвалась служанка с криком: «Они пришли!» Да, у нас еще была служанка.

Рыжий бургомистр Фогараша распахнул потайную дверь, скрытую обоями, вошел, не здороваясь, и заорал:

– Как, вы еще не убрались из дому! Сюда въезжает партийная школа!

За его спиной теснились четверо громил.

Мама сказала:

– *Bună seară*<sup>43</sup>.

Мы, дети, сказали по-немецки:

– Здравствуйте.

Не поднимаясь с места, мама добавила:

– Вы, *domnule primar*<sup>44</sup>, не предложили нам квартиру.

– Еще как предложил, – закричал он, – да к тому же поблизости, в складском помещении напротив, очень удобно, вам даже телега не понадобится, чтобы перебраться на другую сторону улицы.

– Нет, – возразила мама. – Это ведь огромный зал с бетонным полом, неотапливаемый. А мы не сброд. И не военные преступники.

К тому же речь идет о четверых несовершеннолетних детях.

– Мы не уедем отсюда, пока вы не предложите нам человеческое пристанище, где можно выжить.

– Не уедете, тогда мы вас выселим. Сейчас же, немедленно, не сходя с места.

Двое его подручных протиснулись между моей маленькой сестренкой и мной, отодвинули нас вместе со стульями, схватились за скатерть, подняли ее со всем, что на ней стояло; получился мешок, в который без разбору посыпались столовые приборы и еда. *Primar* открыл окно, и его прислужники со звоном и дребезгом отправили собранное вниз. А потом

---

<sup>43</sup> Добрый вечер (рум.).

<sup>44</sup> Господин бургомистр (рум.).

принялись выкидывать мебель!

– Так все и было: нас в буквальном смысле слова вышвырнули из дому. Самым тяжелым предметом оказался рояль. Чтобы протолкнуть это чудовище в окно, пособникам бургомистра пришлось выламывать оконные рамы из стены металлическими прутьями, пока мои близкие беспомощно смотрели на все это опустошение...

– Бедные... – негромко произносит майор.

Во время моего рассказа он ничего не записывал, просто сидел, устремив взгляд на висящий напротив портрет первого секретаря ЦК партии товарища Георге Георгиу-Дежа. Неужели майор действительно произнес слова сочувствия? У меня на душе теплеет. Повествуя о том, что мы пережили тем ноябрьским вечером, я так и вижу перед собой свою маленькую сестренку: она безмолвно искала в свете уличного фонаря своих кукол, волосы у которых слиплись под моросившим дождем, а платица насквозь промокли в грязи. Только споткнувшись о расколотую кукольную коляску, такую большую, что в ней помещалась она сама, она заплакала тихо, как ночной дождик. «Бедные мы...» – подумал я.

– Бедные ребята, – говорит майор. – Могли бы сделать все куда проще. Сначала они могли бы отвинтить три ножки, а потом перекинуть рояль через подоконник, – просто и изящно. Но откуда детям из пролетарских семей знать, как обращаться с роялем?

Я прерываю свой рассказ. А потом на меня что-то нахо-

дит: я принимаюсь декламировать по-немецки и по-румынски балладу «Ленора», которую выучил наизусть в школе имени Брукенталья в Германштадте и в лицее имени Раду Негру Водэ в Фогараше:

*Леноре снился страшный сон,  
Проснулася в испуге.*

Майор еще какое-то время созерцает своего высшего начальника на стене. Потом поворачивает ко мне голову с черными, аккуратно разделенными пробором волосами.

Он встает, натягивает серые замшевые перчатки и медленно подходит к столику, за которым я сижу, послушно держа руки перед собой, и заклиная образы баллады, повторяю строфу за строфой, путая, переставляя фрагменты, запинаясь:

*Угасни ты, противный свет!  
Погибни жизнь, где друга нет!  
Сам бог врагом Леноре...  
О горе мне, о горе!  
С ним розно умерла я  
И здесь и там для рая.*

Майор останавливается передо мной. Не бьет. Нет, он всего-навсего подвигает стул и садится напротив меня как во время первого допроса, когда он беседовал со мной о душев-

ных болезнях и о «Волшебной горе». Он как зачарованный слушает балладу с ее жуткими, зловещими сюжетными поворотами и не сводит с меня глаз:

*И вот... как будто легкий скок  
Коня в тиши раздался:  
Несется по полю ездки;  
Гремя, к крыльцу примчался;*

Мой визави что-то произнес? Приказал замолчать? Немедленно замолчать? Он это сказал. Он скомандовал: «*Termină! Termină imediat!*»<sup>45</sup>

*«Не страшно ль?» – «Месяц светит нам!» —  
«Гладка дорога мертвецам!..»*

Не двигаясь с места, майор властно зовет: «*Gardianul!*»<sup>46</sup> Он не подзывает надзирателя хлопком в ладоши, как обычно, он зовет пронзительным голосом, впервые отвергнув конспиративную обходительность и любезность, принятую в этих стенах: «Охрана, ко мне!» И строго повторяет: «*Termină! Termină cu moartea!*» А ну, хватит о смерти! Но при этом ничего не предпринимает: не обрушивает на меня кулак, не дает мне пощечину. Даже не встает со своего места напротив. Приблизив лицо ко мне, он слушает последние

---

<sup>45</sup> Прекратите! Прекратите немедленно! (рум.).

<sup>46</sup> Надзиратель! (рум.).

строки, которые я выкрикиваю:

*Лучи луны сияют,  
Кругом кресты мелькают  
В минуту мы у места,...  
Приехали, невеста!*

Приказал ли он что-то караульному или подал знак, я толком не заметил. Солдат поворачивается кругом и уходит. Возвращается он с полной воды стеклянной кружкой в руках. Майор кричит мне: «Перестань немедленно!» – а я, как одержимый, выпаливаю строку за строкой. Солдат уже опускает кружку, подносит к моим губам, но тут майор снимает перчатки и вырывает у него посудину из рук. Поэтому я успеваю продекламировать последнюю строфу:

*И что ж, Ленора, что потом?  
О страх... В одно мгновенье  
Кусок одежды за куском  
Слетел с него, как тленье;  
И нет уж кожи на костях;  
Безглазый череп на плечах;  
Нет каски, нет колета;  
Она в руках скелета.*

В этот миг майор собственноручно выливает кружку мне на голову и, размахнувшись, выплескивает остаток воды прямо в мое пылающее лицо.

Я рассеянно произношу:

– Вот так мы и прожили все эти годы со времен освобождения. – И, отфыркиваясь, сдуваю капли.

– Мы здесь обсуждаем не поэзию, а государственную измену, «*trădare de patrie*», – говорит майор. И, обращаясь к солдату, добавляет: – Увести его!

## 8

На мне еще не высохла одежда, а меня уже снова выводят из камеры. Я едва успел вычерпать щи, а к бобам даже не притронулся. Ничего не видя, спотыкаясь, я бреду куда-то, опираясь на руку надзирателя, по лестницам, по ступеням, вдыхая затхлый воздух.

Майор уже не в штатском, как сегодня утром. На погонах у него сверкают звезды, и мне становится не по себе от этого блеска. Величественным жестом он приказывает мне сесть. На паркете перед моим столиком отливают серым безобразные лужицы.

Он тотчас принимается за дело. Без обиняков, по-румынски, он поясняет:

– Поскольку ты даешь столь положительную оценку Энцо Путеру, возникает подозрение, что ты что-то от нас скрываешь. А если этот секретный агент для выполнения своих антигосударственных планов завербовал и тебя, как и всех остальных, к кому он втерся в доверие?

Не дожидаясь ответа, он продолжает:

– Он проделывал всю подрывную работу вместе с Анне-мари Шёнмунд, простите, с госпожой Путер. За несколько дней она вместе с агентом Путером создала конспиративную сеть. В Бухаресте они установили контакты с боевой группой молодых румынских интеллектуалов буржуаз-

ного происхождения, которые выступают в поддержку единой Европы, а здесь, в Сталинштадте, с подрывной организацией саксонских молодчиков, малообразованных, но тем более опасных. И наконец они стали поддерживать связь со студентами в Клузе. Этих студентов намеревались использовать как передовой отряд в борьбе против народно-демократического порядка.

Если здесь в это поверят, то с тремястами студентами из моего литературного кружка все кончено. Их ждут темница и цепи.

– А связным в Клузе служил ты! Ты целую ночь проговорил с агентом Путером. О чем, если не о ваших тайных планах?

Он смотрит на меня испытующим взглядом. Я собираюсь с духом и не отвожу глаз. Он добавляет:

– Тот, кто привлек на свою сторону студентов, завтрашних интеллектуалов, обладает бомбой замедленного действия, а значит, владеет будущим.

Я решаюсь и умоляющим тоном произношу:

– Именно это, господин майор, и представлялось мне в мечтах: через посредство «Саксонского литературного кружка имени Йозефа Марлина» создать идеологическую среду, которая помогла бы перевоспитать студентов, превратить их в новых людей. Они смогли бы увлечь саксонцев идеями социализма, в какой-то степени действительно как бомбы с часовым механизмом, как штурмовые отряды...

– Городской пастор Конрад Мёкель из Сталинштадта употребил те же выражения, – перебивает меня майор, – когда во второе предрождественское воскресенье читал проповедь вам, клужским студентам, и потребовал, чтобы вы образовали штурмовые отряды. Но совсем не с той целью, о которой говорил ты, а с намерением сокрушить наше народно-демократическое государство. Или ты не помнишь?

Я помню.

Он укоризненно добавляет:

– Повсюду одни и те же студенческие отряды: с одной стороны, они позволяют одурачивать себя реакционным священникам, собираются в ризнице для празднования сочельника. А с другой стороны, в университете они демонстрируют верность духу партии и избранному страной курсу. Одни и те же в среду вечером спешат на заседание твоего литературного кружка при Коммунистическом союзе студентов, а в четверг вечером со свечками в руках поют мистические песни в церковном хоре. Где маска и где подлинное лицо? Запомни, молодой человек: кто не с нами, тот против нас. Это еще ваш Гитлер говорил.

– И апостол Павел, – храбро дополняю я.

Майор предпочитает сделать вид, что не слышал об апостоле.

– В ту самую секунду, когда ты начинаешь защищать опасных личностей вроде Путера и Мёкеля, а также других заговорщиков, шпионов и бандитов, пытаешься обелить их в на-

ших глазах, ты сам предстаешь в высшей степени подозрительным. Будь осторожен: поезд отправляется. Кто не успел, попадет под колеса! Знаешь, кто это сказал?

– Возможно, тоже Гитлер.

– Правда, он, – подтверждает мой повелитель. – Но это справедливо и по отношению к нам: кто опоздал на поезд, попадет под колеса. Кстати, а почему Саксонский, а не Немецкий литературный кружок? Официально вас и вам подобных, *mon cher*, обозначают так: «румынские граждане немецкой национальности в Румынской Народной Республике».

– Тем самым мы хотели показать, что намерены продолжать наши саксонские демократические традиции. Тезис пастора Вортмана звучал так: в последние сто лет мы, саксонцы, отождествляли себя с Германией, и это не принесло нам ничего, кроме горя. После того как в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году Габсбурги передали нас венграм, которые захотели мадьяризировать нас любой ценой, мы стали изо всех сил цепляться за полы Германской империи. Повидимому, ответственному поколению тогда представилась альтернатива: погибнуть трансильванскими саксонцами или стать немцами в большей степени, чем прежде.

Майор записывает. Поскольку он не задает никаких вопросов и ничего не говорит, я продолжаю – на своем родном языке:

– Воспитывать новых людей, как рекомендовал Маркс и

как сделал это Ленин, социалистов до мозга костей в мыслях и поступках, – вот задача нашего поколения, по словам пастора Вортмана. Для нашей молодежи, которая, как вы указали раньше, господин майор, бросается из одной крайности в другую, это означает прежде всего продолжить наши исторические традиции, существовавшие на протяжении восьмисот лет, со времен первых переселенцев, в сущности стихийных социалистов, до тридцатых годов. До сего дня на нас лежит отпечаток товарищества и сотрудничества. Как сказал Стефан Людвиг Рот<sup>47</sup>: «Братская общность ведет нас по жизни от колыбели до могилы». Никто не потеряется, можно не опасаться, что останешься в одиночестве. Это во-первых.

– Это касается только вас, саксонцев из Трансильвании, – перебивает меня майор. – Вы всегда считали себя лучше других, мнили себя расой господ и в конце концов стали фашистами.

– Мы были народом господ, поскольку были свободными людьми. Кстати, еще в апреле тысяча восемьсот сорок восьмого года Саксонский национальный университет в Германштадте высказался за предоставление в венгерских коронных землях румынам равных прав с нами, саксонцами. И отменил крепостничество. А разве у вашего нового порядка, господин майор, не подобные же цели? Равноправие для всех, гарантированное Конституцией. Но, во-вторых, я

---

<sup>47</sup> Стефан Людвиг Рот (1796–1849) – трансильванский немецкий педагог, реформатор системы образования, лютеранский священник.

пытался доказать в своем рассказе, что устремления социализма созвучны нашим традициям и жизненному укладу. В Клаузенбурге мы попытались убедить в этом наших соотечественников, несмотря на весь их горький, зачастую отрицательный опыт. Это трудно, и, кто знает, вдруг и вовсе невозможно, но мы решились.

Я так взволнован, что начинаю трясти стол. На глазах у меня выступают слезы.

– Он привинчен к полу, – объявляет майор и возражает мне: – Этот саксонский социализм вы хотели построить только для себя. До судьбы остальных вам нет дела. Это не марксистский, а националистический социализм. К тому же он не может обойтись без благословения церкви. Это означает, Бог существует для одних саксонцев. Он разгуливает по райским кушам в саксонском костюме вроде одного из ваших деревенских старост: в шапке из выдры, в ярко расшитом тулупчике из овчины, в льняной накидке с узором из тюльпанов и маргариток, в высоких ботинках на шнуровке. Мы не хотим иметь ничего общего с таким Богом, который время от времени избирает себе народ, балует его, нежит, а потом отрывается от него и даже в своей оскорбленной гордости обрушивает на него месть, как на народ израильский.

А разве майор сейчас не объединяет немцев и евреев? Мне он это запретил. Явно довольный собой, он продолжает:

– А теперь этот жестокий Бог призвал вас к ответу. Знаешь, за что?

– Нет. Я даже не знаю, существует ли он.

– Потому что в тридцатые годы вы поклонялись чужим богам.

«Такого мнения придерживается наш нынешний епископ Мюллер. Откуда майору все это известно?» – потрясенно думаю я.

– Мрачным богам вроде Вотана, Донара и злодея, который предательски убил бога света, – кстати, как их обоих величают?

– Локи и Бальдур, – отвечаю я не задумываясь и тут же прикусываю язык.

Майор что-то записывает и произносит:

– Как там говорит ваш Бог: «Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Этому вы учились на протяжении столетий. Поэтому ваш епископ и утверждает, что вы избранный народ Господа в Новом Завете.

Чтобы вернуть офицера на стезю исторического материализма, я преждевременно выкладываю свой последний козырь:

– О нашем демократическом правлении и товарищеском настрое с похвалой высказывались в своих работах по социальной политике Энгельс и Ленин.

Совершенно не растроганным упоминанием Энгельса и Ленина, майор заканчивает свою мысль:

– Мы же стремимся создать Царство божие на земле. Для трудящихся всех наций и народностей. Но без бога. Вашим

людям там делать нечего. Например, ваши старые нацисты нашли прибежище в церкви, но не для того, чтобы стать лучшими христианами, чем были, а чтобы разжигать ненависть к новому порядку.

Я замолкаю, вежливо выслушиваю, но не даю сбить себя с толку:

– Нам, трансильванским саксонцам, в структуре нашего общества не хватает именно пролетариев. По законам исторического материализма освобождение пришло для нас слишком рано.

Майор как будто хочет возразить, но потом возвращается к своим записям.

– В тысяча девятьсот сорок четвертом году у нас еще не было значительного социального расслоения на антагонистические классы, народная общность оставалась единой. У нас не было ни крупных помещиков, ни дворянства. Но точно так же не было и боевого рабочего класса. Наши рабочие не умирали, исходя кровавым кашлем, от чахотки, замученные эксплуататорами, мы не знали нищих и обездоленных, которые на грани отчаяния вскричали бы: «Нужно построить справедливый общественный порядок даже ценой уничтожения собственной буржуазии!»

Я говорю и говорю, майор слушает и записывает.

– У нас даже неимущим хотелось только одного: достичь благосостояния и упрочить свое положение в обществе.

Я незаметно кошусь на майора, он берет новый лист, я

продолжаю:

– Возможно, эти контрасты несколько десятилетий спустя в ходе закономерной эволюции сформировали бы, с одной стороны, класс саксонских пролетариев, которые порвали бы с народной общностью и поднялись бы на борьбу с собственными соотечественниками, а с другой стороны, класс несметно богатых эксплуататоров, приказывающих стрелять в этих рабочих. Однако до сих пор у нас никто еще не переметнулся в чужой лагерь. Не существует классового сознания, которое развело бы по разные стороны баррикад саксонскую нацию; повсюду господствует сознание исторической общности судеб, якобы присущей нам навеки. Индивидуальность трансильванского саксонца укоренена в его коллективистском мышлении.

– Так значит, Советы пришли слишком рано?

Я перехожу на румынский:

– Не Советы, а сорок четвертый год.

И поспешно заключаю:

– Если партия, правительство и вы, ваше учреждение, будут судить нас, следуя неукоснительным правилам классовой борьбы, логично ожидать, что вы нас прикончите, просто уничтожите всех подряд. *Exterminare*<sup>48</sup>. Мы же не создали пока класса пролетариев. Значит, для нас нет места под вашим солнцем. Нам остается только черное солнце.

– Которое в финале «Тихого Дона» Шолохова восходит

---

<sup>48</sup> Уничтожить (рум.).

над главным героем. Знаете почему? Потому что он не решился выбрать социализм.

Сквозь частые прутья оконной решетки мой взгляд проскальзывает на свободу и различает цветные точки на снегу в черную клетку: людей в куртках или сказочных существ, парящих в креслах канатной дороги над горным перевалом Циннензаттель. Я смертельно устал и хочу вернуться в свою темницу.

– За своих клаузенбургских студентов я готов положить руку в огонь. Я ручаюсь за их лояльность режиму.

Для меня этот разговор окончен.

Майор не хлопает в ладоши. Его темные волосы мерцают в отблесках солнца, почти не проникающего через зарешеченное окно.

Он меняет тему?

– Вам ведь встречались такие портреты: взгляд изображенных следит за нами, где бы мы ни стояли, куда бы ни переместились.

– Да, – с готовностью подхватываю я, ведь беседа о живописи хотя бы ненадолго отвлекает от мучительных догадок, – у нас дома есть такая картина, мы ее боялись в детстве. Кажется, что жутковатый человек на полотне за вами наблюдает.

– А кто на ней изображен?

Я стремлюсь уйти от прямого ответа:

– Ах, это старая картина, вероятно, портрет какого-то

предка, ремесленника, наверное. Предки моего отца все без исключения были ремесленниками в Биртхельме. В том числе сапожниками и дубильщиками...

– А предки вашей матери? Вы слишком скромничаете, *mon cher*. Ведь это все-таки портрет мужчины с орденом Золотого руна на шее, к тому же подлинный Мартин ван Майтенс<sup>49</sup>. Ваши родители прячут эту картину в спальне, за шкафом.

Они знают все.

– Ваша книга... чем-то напоминает такую картину.

– Почему? – спрашиваю я, хотя мне запрещено задавать вопросы. – Идеологически она вполне зрелая. Еще до того, как ей присудили премию, ее тщательно изучили две партийные комиссии.

– Бывает литература с двойным дном, где автор говорит одно, а имеет в виду совсем другое. Эти враждебные государству опусы мы называем перевертышами. Они просто наводнили наши издательства и творят там свою разрушительную работу. Пожалуй, ваша книга из их числа. Да и других найдется немало! Мы как раз ее детально исследуем. Итак, летом тысяча девятьсот пятьдесят шестого года вы читали этот рассказ подросткам у бабушки в Танненау. После чтений эти баламуты захотели взорвать военный завод. Именно

---

<sup>49</sup> Мартин ван Майтенс (1695–1770) – известный австрийский художник голландского происхождения. Прославился портретами коронованных особ и аристократов.

их банда связалась со шпионом Энцо Путе-ром и организовала заговор с пастором Мёкелем.

– Не верю, – вырывается у меня.

– В вашем рассказе саксонские подростки, живущие в маленьком городке, встречаются, чтобы обсудить свое нынешнее положение. А лейтмотив вашего рассказа звучит так: что-то должно случиться! Эти мерзавцы внимательно вас слушали и все восприняли буквально, как руководство к действию.

– Но я не имел в виду ничего подобного, – возражаю я. – Посыл моей книги однозначен и совершенно ясен. Мы должны влиться в ряды строителей социализма.

– В вашей книге нет ничего однозначного.

Он подходит к моему столику и кладет передо мной раскрытую тетрадь.

– Вот записи одного из этих молодчиков, назовем его Фолькмар, он был стратегом в этой банде. Вас, mon cher, он называет главным идеологом этой тайной организации и хочет, чтобы вы стали министром культуры в теневом кабинете. И почитайте только, каким возвышенным именем нарекли себя участники этого кружка, просто говорящим именем: «Благородные саксонцы»! Трудно поверить, что это молодые коммунисты, неукоснительно придерживающиеся линии партии и выступающие за социализм.

Такое действительно написано в тетради, незнакомым почерком. И не только такое. Куда больше. Но это «больше»

майор не дает мне прочитать. Он отбирает у меня тетрадь.

– Что вы на это скажете? – спрашивает он, садясь за свой письменный стол.

– О тайной организации «Благородные саксонцы» я впервые услышал здесь, у вас. А этого Фолькмара никогда в жизни в глаза не видел.

И в заключение добавляю с видом оскорбленного достоинства:

– Свой рассказ я читал и другим молодым людям, и никому не пришло в голову взрывать фабрики. Впрочем, нельзя серьезно относиться к тому, что эти бахвалы здесь наболтали. Если расследовать все, что плетут во всяких кружках и группках, то к каждому придется приставить соглядатая. Или всех посадить. А все это бесконечная пустая болтовня.

– Пустая болтовня? А вдруг это чистая правда? Так до сих пор думали и у нас, и в высших инстанциях, – необычайно резко произносит майор. – Но теперь оказывается, что мы имеем дело с крупными, хорошо законспирированными националистическими акциями. В которых задействованы все, от подростков до церкви, от старых нацистов до фабрикантов, собственность которых национализировали, от пионеров в немецких школах, этих «маленьких гитлерят», до вас, студентов, которые под видом занятий искусством и литературой не только продались декадентскому Западу, но и совершают по указке империалистических агентов всевозможные диверсии. Кажется, и ты вел двойную игру? Так ведь?

Он прямо обвинил меня во второй раз.

– Все это мы должны расследовать. Да и вам, mon cher, рекомендую об этом хорошенько подумать. Дам вам совет: прежде всего вспомните наконец о том, что вы изо всех сил пытаетесь забыть. У вас достаточно времени, чтобы пролить свет на эти темные дела. А в нашем арсенале немало средств вывести на чистую воду тех, кто пособничает силам зла. Мне не терпится узнать, как вы станете доказывать, будто этот Путер – безобидная фигура, да еще и друг народной демократии. Когда все вокруг голые, над тем, кто в рубашке, смеются. Когда на ваших карнавалах звучит призыв распорядителя снять маски, подозрение вызывают те, кто их не снимает. Вспомните закон корреляции.

Майор хлопает в ладоши и удаляется еще до того, как в комнату входит караульный.

В гидрологии закон корреляции звучит так: если в ограниченном водосборном бассейне выпадает дождь, уровень воды в ручьях повышается, что не могут не отметить все гидрометрические наблюдательные станции. Таким образом можно проконтролировать, действительно ли речной обходчик снял показания с мерной рейки в русле реки или ведет записи прямо дома, как ему заблагорассудится. Майор прав: если все остальные, Фолькмар и компания, в отличие от меня, изобразили Энцо Путера изменником и главой шпионской сети, то мне никто не поверит и я окажусь чем-то вроде речного обходчика, который перед сном снимает показания

с голого живота своей жены. Я попал в ловушку.

В таком случае мое знакомство с Энцо Путером предстает запланированной вербовкой нового агента заговорщиком... Как доказать обратное? Все мое спасение – в Аннемари. Благодаря ей я смог бы убедить майора, что моя встреча с Путером была чистой случайностью.

Как же она сердилась на меня за то, что я своим упрямством лишил ее этого свидания, не дал ей провести с ним последнюю ночь!

Одиннадцатого ноября тысяча девятьсот пятьдесят шестого года я приехал в Кронштадт. Кое-как я уломал Анне-мари ждать меня на вокзале Бартоломэер-Банхоф, чтобы не пришлось выдерживать у нее дома тройной единодушный натиск ее матери, ее самой и ее друга по переписке. На личной встрече с ним я настоял против ее воли, прежде всего для того, чтобы наконец узнать правду. И узнал, да еще какую, больше, чем мне хотелось.

К ее матери мы пришли часа в два дня. Дороге в Скей, отдаленнейший пригород, казалось, конца не будет, – мы пошли пешком, потому что я хотел побыть с Аннемари наедине, – и все это время она без умолку болтала всякий вздор, чего раньше никогда за ней не водилось. Какая, мол, роскошь окружала ее в Бухаресте в отеле «Амбассадор», куда ее вызвал Энцо Путер, который, будучи западногерманским туристом, не имел права покидать столицу.

– Мой друг по переписке подарил мне палевое шелковое платье с глубоким вырезом и с рукавами-колокольчиками. Когда я спускалась по лестнице, весь персонал отеля кланялся. Директор каждый раз целовал мне руки, а однажды даже облобызал локоток.

Она вытаскивала его к нашим румынским друзьям: к Винтилэ, к Флорину, к Адриану.

– Больше всего моему другу по переписке понравилось у них. Они мечтают о единой Европе под управлением американцев. Они говорили по-французски и по-английски. Мой друг говорит на всех языках, а мы не говорим даже по-русски. Дни пролетели незаметно. А чужие люди то и дело крадут у нас драгоценное время, которое мы могли бы провести друг с другом.

Потрясения я не ощущал.

– Здесь, в Кронштадте, мы хотели сходить в кино. Разумеется, вечером, потому что Энцо даже нельзя было сюда приехать. Но не успели мы выйти из ворот, как к нам бросился мой сосед Петер Тёпфнер и затащил к себе: «Пойдемте к нам, у нас еще никогда не бывало в гостях настоящего западного немца! У меня каждую среду по вечерам собирается кружок читающих рабочих, мы ломаем голову над нашей саксонской судьбой, над мировыми событиями и над тем, какой вклад мы можем внести в революцию в Будапеште. Посоветуйте!»

Войдя в комнату, служившую одновременно спальней и

гостиной, а на сей раз в виде исключения ради высокого гостя еще и столовой, я возликовал: он не представлял для меня опасности. Меня охватило сострадание: какой же он уродец, бедняга! Я подошел к Энцо Путеру и хотел его обнять. Явно обеспокоенный, он снял очки с толстыми стеклами и принялся протирать их кусочком замши. Мой порыв так и ограничился неловким, незавершенным жестом. Я сел на полено у печки. Тут он со мной поздоровался. Несмотря на восторженную радость, которой я преисполнился и которая затуманила все мои чувства, я заметил, что у него неровные, желтоватые зубы, моей подруге он едва достает до подбородка, тыльные стороны его веснушчатых ладоней покрыты густой порослью, рыжие, растрепанные волосы у него на голове стоят дыбом, а глаза, увеличенные стеклами очков до огромного размера, отливают сразу тремя цветами. Он окинул меня дружелюбным взглядом и о чем-то заговорил. О чем, собственно?

Уставившись на столик перед собой и вместе с караульным солдатом ожидая возвращения майора, я воскрешаю в памяти то, что явно не стоило бы. Со спокойной улыбкой Путер напомнил, что Советский Союз весьма далек от монолитной сплоченности, он не гранитный утес, как принято считать в Восточном блоке. Например, он осыпается по краям. Существует напряженность между исламскими республиками и центром, Москвой. Нам, молодым саксонцам, он советовал вступать в коммунистические молодежные орга-

низации, чтобы саботировать их деятельность изнутри. Если он правильно понял свою подругу, то у Клаузенбургского студенческого кружка примерно те же намерения: создать островок саксонской самобытности, самостоятельности и демократических традиций в противовес нивелирующим тенденциям государства.

Его рассуждения показались мне столь абсурдными, что я не удостоил их ответом, только еще больше утвердился в одном-единственном мнении: Аннемари останется со мной!

Смогу я убедить майора в том, что в блаженном упоении утратил тогда всякую политическую бдительность и недостаточно серьезно воспринял болтовню Путера на политические темы? А она и сегодня представляется мне наивной и дилетантской, хотя Секуритате вряд ли расценит ее как безобидную. Посидев в этих стенах, я уже научился понимать такие вещи.

Майор возвращается. Я сижу молча.

Он в отличном настроении. Может быть, угощался пирожными с кремом. Он примирительно произносит:

– Конечно, конечно, мы не сомневаемся в честности ваших показаний и в ваших добрых намерениях. Но ложка дегтя в бочке меда... Кто ее туда подмешал? Чтобы это выяснить, мы вас всех здесь и собрали.

Он хлопает в ладоши. Солдат берет меня под руку, и мы отправляемся в путь.

Егерь приберег остаток моего обеда, остывшего и скользкого от жира, но я его все-таки съедаю. Голод, ничего не поделаешь.

– Долго тебя не было, – замечает он, пока я опускаюсь на край койки. – Наверняка чувствуешь себя, как кабан со вспоротым животом.

Именно так я себя и чувствую, как кабан, провалившийся в западню. Из раны на животе у меня вываливаются внутренности. Я описываю офицера, который меня допрашивал. Охотник сразу понимает, кто это:

– Майор Блау.

Майор Блау? Он трансильванский саксонец? Среди нас распространены фамилии вроде Рот, чаще всего встречаются Рот и Грау, найдутся и Шварц, и Браун, есть даже и Грюн, Уве Грюн, и Гельб, Эрика Гельб. Но чтобы Блау<sup>50</sup>...

Не успел я проглотить последний кусок, как дверь в камеру снова отворили. Я не расслышал прихода караульного. Сам того не желая, я вскакиваю и поворачиваюсь лицом к стене.

Наверху меня встречает другой майор. Розмарин говорил мне, что это главный следователь Александреску, я узнаю его по белесым, взъерошенным бровям. Он сует мне карандаш и несколько листов бумаги.

---

<sup>50</sup> Рассказчик перечисляет немецкие фамилии с семантикой цветообозначения: Блау – синий, Рот – красный, Грау – серый, Шварц – черный, Браун – коричневый, Грюн – зеленый, Гельб – желтый, Блау – голубой.

– Запишите все, что до сих пор говорили об истории трансильванских саксонцев. Это первый анализ вашей истории средствами диалектического и исторического материализма, который нам доводилось слышать. Но, пожалуйста, воздержитесь от красочных примеров из жизни своих родственников. На строго научной основе. Вы же не только поэт, но и человек с академическим образованием.

Они-де будут опираться на эти мои показания, чтобы правильно оценить политические прегрешения моих соотечественников.

– Наше народно-демократическое государство отнюдь не стремится уничтожить саксонцев, но мы должны пролить свет на эти сомнительные дела. *Facem lumină*. А молодых немцев этой страны никто больше не превратит в пушечное мясо, никто больше не поступит с ними столь возмутительным образом и не причинит им подобные страдания! Хватит и того, что поколение их родителей увлеклось безумными нацистскими идеями и еще проливало кровь на самых опасных участках фронта, когда Германия уже проиграла войну. И в то же время *soldații Reichului*, солдаты рейха, развлекались в Париже с француженками. Это не должно повториться. «Он прав, – думаю я. – Мы мучаемся, а другие разгуливают по Парижу? Никогда больше!»

– Вы окажете услугу не только государству и партии, но и своему народу. Если вы достойно себя зарекомендуете, то сможете стать новым лидером саксонцев, появления которо-

го уже давно ждут в Бухаресте.

Я пишу под надзором солдата, которому вменяется в обязанность стоять надо мной. Мои соображения по поводу саксонской судьбы будут длинными, хватит на много страниц. Караульный, окончательно обессилев, садится на единственный стул за массивным письменным столом и просит меня не обращать на него внимания; он опасливо поглядывает на дверь, которая может распахнуться в любую минуту. У меня проходит всякий страх. С упоением и восторгом я, вооружившись инструментарием марксистской теории общества, принимаюсь за историю трансильванских саксонцев, апологию становления, формирования и существования моего народа. Когда в комнату входит дежурный офицер и отбирает у меня бумагу, оказывается, что уже ночь. Караульный стоит на посту. Едва только старший по званию нас покидает, как оба мы с наслаждением зеваем. Потом правила внутреннего распорядка разводят нас по разным лагерям: я скрываюсь во тьме, нахлобучив очки, а он смачно испускает ветры.

Егерь лежит на койке, выпростав руки на попону, лицом к лампочке, прикрыв глаза носовым платком. Начало одиннадцатого. На ужин я опоздал.

На следующее утро после посещения уборной егерь хочет в деталях обсудить все, накопившееся за последнее время. Он требует, чтобы я в мельчайших подробностях сообщил все, начиная с первого допроса у майора Блау, и комментирует каждую фразу. Однако, когда дело доходит до смехо-

творной мелочи – названия улицы, на которой я родился в Араде, – мы надолго застреваем.

Я вздыхаю:

– Если бы я только догадался ответить, что не помню. В конце концов, мне и было-то всего три года, когда мы оттуда уехали.

– Ну, значит, тогда он бы как-то иначе узнал то, что хотел, – возражает егерь. – Ведь нет сомнений, что он любым вопросом, даже самым нелепым, преследует какую-то цель. Возможно, когда он стал выпытывать у тебя про этого доктора Русу-Ширьяну, он хотел выяснить, хорошая ли у тебя память. Или из каких кругов ты производишь. Или еще что-нибудь. Вот ведь хамелеон какой, благополучно пережил все режимы, – размышляет вслух егерь и перечисляет их так, как этому учат на партийных политзанятиях: – Буржуазные правительства тридцатых годов; самодержавное правление короля Кароля II. В сороковом году, мальчиком, я видел в Медиаше, как обстреляли его поезд, когда он уезжал из страны со своей любовницей Лупеску. Потом фашистский террор зеленорубашечников; потом военную диктатуру маршала Антонеску, его казнили в сорок шестом, мы, коммунисты, тогда еще не стояли у руля. А до сорок седьмого конституционную монархию молодого короля Михая, я служил десантником в его лейб-гвардии. А потом, когда король отправился в изгнание, диктатуру пролетариата. Кто все это пережил, вызывает подозрения.

– Но этот Русу-Ширьяну наверняка давно умер. От него и не осталось-то ничего, кроме таблички с именем.

– Не важно. Здесь всех в чем-нибудь да подозревают, и живых, и мертвых.

– Сколько времени они тратят на такие пустяки, – замечаю я.

Он грубо бранится, плюет на пол (это не запрещено):

– Они не свое время тратят, а наше.

Все повторяется: мы раз за разом прочесываем местность, продираясь сквозь густые ветви событий, надеясь найти путь к свободе, но в конце концов все равно увязаем в каких-то непроходимых зарослях.

После завтрака меня уводят наверх. Майор Александреску на сей раз не один. За пишущей машинкой сидит молодая женщина. Она делает вид, что меня не замечает, и глядит в пустоту. Ухоженная, со слегка подкрашенными губами, с изящно подведенными шелковистыми бровями, рыжевато-русовая – румынки часто бывают такими, волосы разделены на прямой пробор, как у мадонны. Меня просят продиктовать ей то, что я вчера сочинил. В Секуритате решили отправить мои записки в Бухарест, в ЦК партии. И еще раз напоминают:

– И, пожалуйста, выбросьте из головы свои опасения, что саксонцев уничтожат потому, дескать, что они не вписываются в общественно-политическую концепцию государства.

Это механистический способ решения проблем. Так что не бойтесь *catastrofă națională*. Любые процессы надо анализировать в контексте.

– *Interdependența fenomenelor* – взаимозависимость феноменов, – радостно подхватываю я, – первый закон диалектики.

– *Exact!*<sup>51</sup> Важно перевоспитать народ. Если не где-нибудь, то здесь. Кстати, ведь это вы, немцы, всю эту кашу заварили. Гегель, Фейербах, Энгельс, Маркс – твои соотечественники. Вот теперь вам все это и расхлебывать.

Он смеется, его белесые брови топорщатся. Я чувствую, как по спине у меня бегут мурашки. Под конец он строго приказывает:

– И заруби себе на носу, товарищу машинистке ни слова. Но смотреть на нее можешь.

Он улыбается вполне зловеще и молча уходит.

Я диктую, барышня печатает. Она пишет, не поднимая глаз, не говоря ни слова, как будто она часть механизма своей машинки. По временам случаются паузы, и тогда в комнату врывается караульный:

– Готово?

– Нет, – отвечаю я, потому что она молчит.

Договорив последнее предложение, я выкрикиваю «*punct*» и «*gata*»<sup>52</sup>. Она автоматически встает с места. Впер-

---

<sup>51</sup> Точно! (рум.).

<sup>52</sup> Точка! Готово! (рум.).

вые я могу окинуть взглядом всю ее фигуру, девушка выглядит изысканной и нежной. Неторопливыми, размеренными движениями она собирает бумаги, явно не спеша. Из коридора заглядывает караульный: «*Gata?*»

– *Nu*, – глухо отвечает она.

Это первое и последнее слово, которое она при мне произносит. Караульный захлопывает дверь снаружи.

Машинистка не идет прямо к двери, а подходит ко мне: я сижу в углу за столиком и терпеливо жду, положив руки перед собой на столешницу. Она останавливается, наклоняется ко мне, целует меня в лоб, в губы, ее грудь округляется под блузкой, а из-за выреза выскальзывает цепочка с серебряным крестиком. Она выпрямляется, левой рукой поправляет цепочку, прячет ее под блузкой.

Егерю я ничего об этом не рассказываю.

Если я осознаю, что сижу под замком и за засовами, то выйду из себя: семь железных ворот должны тотчас же распахнуться! Только прочь отсюда! Прочь!

В Фогараше, в большом саду моего детства, я поймал уличного мальчишку, который воровал яблоки. Проворно, как белка, он хотел перелезть через забор во двор францисканской церкви, но тут я набросил на него лассо, совсем как Том Микс<sup>53</sup>, и запер в бомбоубежище с массивными дверями. Он словно обезумел, отбивался руками и ногами, мне стоило немало труда его укротить. Изо всех сил парнишка барабанил кулаками в своем подземелье, и слушать, как он там беснуется, было невыносимо тяжело. Он крикнул: «Воды!» – и я отправился для него за водой в дом. Я решил, пусть, пока я хожу, посидит под замком, это будет ему наказанием. Когда я вернулся, в блиндаже царила тишина. Неужели он ускользнул? Распахнув бревенчатые двери, я обнаружил, что он лежит на полу без сознания, прижавшись ртом к дверной щели. Голова и лицо у него были в крови. Прошло-то всего несколько минут.

Майор не вызывает меня к себе. Бесконечно повторяющиеся белые стены, тиканье каждой секунды, отдающееся где-

---

<sup>53</sup> Том Микс (1880–1940) – популярный американский актер, прославившийся ковбойскими ролями в вестернах.

то в животе. Время становится угрозой. Терпеливо ждать и одновременно бежать, как это возможно? Свить гнездо внутри великого, исполненного злобы времени, как это пыталась сделать наша мама?

Тогда мы еще жили в доме со львом. И хотя коммунистам еще приходилось делить власть с королем, мы боялись их круглые сутки. Но боялись недостаточно, плохо представляя себе, чем грозит послушание. То, что мы тогда себе позволяли, могло стоить нам головы, как я сейчас понимаю. После переворота тысяча девятьсот сорок четвертого года нам запретили иметь радиоприемники. Несмотря на это, когда их начали реквизируют, мама спрятала сразу два потихоньку от отца. Маленький почти овальный двухволновый приемник массового производства марки «Филипс», тяжелый и компактный, мама держала в платяном шкафу, в продолговатой плетеной корзине.

Во время ночного обыска осенью тысяча девятьсот сорок шестого года сотрудники королевской Сигуранцы и сопровождавшие их красноармейцы, грохоча сапогами, с мрачными минами перерыли все в комнатах, все поставили вверх дном и нашли корзину с ручкой. До этого они приказали нам, детям, сидеть в постелях, выпрямившись, ни к чему не приклоняясь спиной и положив руки на одеяло. Велели молчать. Плакать тоже запретили. И моя маленькая сестренка мужественно старалась выполнить все эти указания, хотя слезы текли у нее по щекам до уголков рта, и она ловила их кон-

чиком языка, то слева, то справа.

Распахнув дверцы платяного шкафа, единственного во всем доме, куда нам, детям, заглядывать не позволялось и куда мы все-таки время от времени просовывали нос сквозь приоткрытую щель, наслаждаясь царящим там благоуханием, сотрудники Сигуранцы и красноармейцы заметили злощастную корзину. Но не успели они к ней потянуться, как мама предупредительно нагнулась, схватила корзину, с легкостью поставила на пол и сказала: «Рваные детские чулочки! Для штопки!» И стала смотреть, как погромщики принялись перерывать все в шкафу, бросали все как попало и ничего не клали на свое место. Она поставила корзину со спрятанным приемником на свое место, а мерзавцы тем временем двинулись дальше, громя, круша и вынюхивая.

Второй радиоаппарат мама укрывала в уютном диванчике за декоративной подушкой: это был приемник побольше – марки «Телефункен» с «магическим глазом», который украдкой светился, отливая зеленым. Антенный провод мама провела по дымоходу наружу и на крыше припаяла к проволочной насадке. Музыка, льющаяся из расшитой подушки, так и манившей преклонить на нее голову, навевала приятные воспоминания. А известия иностранных радиостанций, доносящиеся из корзины с детскими вещичками для починки, переносили нас в какую-то другую реальность.

Можно ли повторить такой эксперимент в этих стенах? Восстановить время? Нет.

И все-таки неужели не существует таких убежищ во времени, где можно было бы укрыться от нынешних угроз?

Нас будят в пять. Каждый раз я испытываю животный ужас, который затем, когда на меня обрушивается день с его семнадцатью свинцовыми часами, распадается на отдельные страхи поменьше.

За одну секунду я разгладил тюфяк; с каждой ночью он делается тоньше, солома высыпается из него пылью. Быстро-быстро разостлал на тюфяке попону и взбил набитую стружками подушку.

Одеваться! Мне повезло, ведь среди моих вещей, доставленных из клиники, была и пижама, я сбрасываю ее и поспешно натягиваю костюм. Готово! А теперь прислушиваться. Ждать.

Распахивается дверь. В камеру просовывают совок, следом за ним метлу. Выметаю пучки седых волос, темных волос, коричневую швейную нитку, обрезки пергамента, сигаретный окурочок в помаде.

Раз в неделю мне вручают тряпку для влажной уборки. Я выполняю все как положено, хотя и вяло. Не успею я смочить все уголки, как влажный каменный пол высыхает. Зато мой сокамерник каждое утро метет пол истово, с подлинным усердием. Готово. Ждать.

Наконец раздается команда: «*La program!*» Нас ведут в уборную. Побыстрее опорожнить кишечник, одновременно помочиться, поспешно помыть задницу. Дальше! Следую-

щий, пожалуйста! Горе тому, у кого из заднего прохода выпадают кровавые геморроидальные узлы или на кого напал понос. Мы, здоровые, стараемся выиграть время, чтобы страдалец мог в муках справиться нужду. Плохо, если его больше не держат исхудавшие колени, если он долго не способен находиться в неудобной позе, присев над дырой уборной. Но тут на помощь приходит более сильный товарищ по несчастью: одной рукой он поддерживает несчастного, который чуть не валится на пол, а другой в это время полощет рот. Охранник с горкой жестяных очков в руках барабанит в дверь: «Заканчивать!» Натянуть штаны, подобрать свою вонючую кружку. Гуськом назад в камеру. Ждать. Прислушиваться. Ну, вот наконец и завтрак.

Кстати, я обнаруживаю убежище во времени. Еще Розмарин как-то заметил: «До завтрака нас оставляют в покое». Я заползаю под прикрученный к стене столик. В эту пещеру я никого к себе не пускаю. Иногда надзиратель бранится, но не выгоняет меня оттуда. Страх замолкает. Мысли начинают блуждать.

А потом начинаются допросы. В коридоре грохочут сапоги. Громяхают двери, заключенных уводят, одиннадцать ступеней сюда, одиннадцать туда. Мы сидим, словно в окопе, и трепещем: «Вдруг свистнула картеча. / Кого из нас двоих?»<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Начальные строки известной немецкой песни «Хороший товарищ» («Der gute Kamerad») на стихи Людвиг Уланда (1809) и музыку Фридриха Зильхера

Наконец, мы достигли спасительного острова обеда. Еда с привкусом жести и жидкого отвара. Кого уже успели допросить, тот не в силах обуздать мучительное возбуждение и никак не может успокоиться. Самые обычные вещи из повседневной жизни здесь величают ужасными именами: заговор, государственная измена, шпионаж.

Я вгрызаюсь в дифференциальное уравнение, чтобы спастись от навязчивых идей, которыми я обыкновенно бываю одержим здесь днем, процарапываю ногтем на попоне новые формулы небесной механики, разрабатываю новую модель автомобиля повышенной проходимости, приводимого в движение пропеллером, который даже из болота улетит, если понадобится. Только здесь и сейчас, в этой камере, мне удаются такие подвиги, требующие интеллектуального напряжения.

По вторникам и пятницам после еды среди заключенных распространяется сдержанное беспокойство. Дознатели трудятся, выдергивают на допрос. В другие дни господствует предписанная правилами тишина. Обеденное убежище превращается в бесконечный туннель. Настроение ухудшается. Неожиданно сокамерник, сидящий на койке напротив, бодро заявляет: «А помнишь, как я сюда зашел?» И тычет пальцем куда-то вверх: «Через потолок». И слышит колокола, хотя мы тут сходим с ума от абсолютной тишины. Или срывается с края койки и изо всех сил бьется головой о стену, так что кровь хлещет из носа и ушей.

А что же тюремщик за дверью в коридоре? Как говорил Розмарин, ему еще хуже, чем нам, он ведь там один-одинешенек. Умирает от скуки. Он завидует, когда в камерах веселятся. Бывает же, что заключенные шепотом рассказывают анекдоты, делятся веселыми историями с воли, из прошлой жизни, и смеются, хотя это запрещено режимом. Бывает даже, что они от удовольствия иногда хлопают себя по ляжкам, что не запрещено, но и не одобряется, точно так же, как танцы и занятия физкультурой. А дежурный надзиратель-то сидит под замком, даже он. Дверь на лестницу заперта снаружи. Время его ой как донимает. Разговаривать с нами ему запрещено. Читать ему не позволено. Петь он не поет. А танцевать на службе? Вроде как тоже не положено. Самому себе рассказывать анекдоты – удовольствие ниже среднего. Вот он и крадется вдоль дверей, прикидывает то к одному глазку, то к другому, глядит внутрь, пока слезы на глазах не выступят, – одновременно и работа, и развлечение.

Однако караульный по-своему нас тоже веселит, когда во время обхода дает прикурить содержащимся в камерах курильщикам. Сколько камер предварительного заключения он может обслужить одной горящей спичкой? Он перебегает от одного глазка к другому, гремит задвижкой и подносит огонек арестанту, который его уже поджидает: «Perede, perede!» Арестант, одержимый никотиновым голоданием, томится у глазка с сигаретой в зубах. И единым вдохом урывает свою часть пламени, вместе с другими устанавливая ре-

корд. Сигарета дымится. Одурманенный счастливец втягивает дым, пока окурок не опалит ему губы. А караульный с зажженной спичкой семенил дальше вдоль дверей. Мы пересчитываем камеры.

Бывает, что задвижку отодвигают, арестант бросается к двери и поспешно просовывает сигарету в глазок. Но огонек никто не подносит, хотя, судя по всем звукам и запахам, должны бы. Наоборот, в отверстии появляется чей-то глаз, и это глаз высокопоставленного наблюдателя, который на цыпочках скользит от одной двери к другой и следит за нами, и тут в этот глаз попадает сигарета. Однако невидимый должен во что бы то ни стало остаться невидимым. И не имеет права произносить ни звука, пусть даже глаз у него запорошен табаком.

Одного такого я лично ткнул, добросовестно выполняя указания егеря; тот дал мне в зубы свою сигарету, я поднес ее к глазку. Когда он крикнул: «А теперь пихай ее туда быстрее, а то до вечера без огня просидим!» – я поспешно просунул сигарету в отверстие. Однако на сигарете не заиграло, извинаясь, трепещущее пламя, напротив, кто-то сначала жалобно охнул, а потом заворчал. Задвижка взлетела вверх, глазок целиком заполнил мясистый нос. «Idiotule!» Егерь заметил капитанские эполеты. До вечера посасывал он незажженную сигарету. А меня поставили в угол.

Но и днем, как всегда, как и во всех здешних камерах, остается ждать, прислушиваться, надеяться. Вдруг сейчас

распахнется дверь и больше за тобой не закроется?

По субботам, во второй половине дня, мы принимаем душ в двойной открытой кабине. Нельзя сказать, что это сплошное удовольствие, ведь нам положено не только мыться, но и стирать белье, и все это одним грязно-коричневым кусочком мыла размером со спичечный коробок. Эту обязанность я выполняю небрежно: кое-как тру и скоблю только манжеты и воротник рубахи, и совсем уж малую часть подштанников. Носки стираются сами: все это время они лежат на сливе.

После душа нам бреет бороды настоящий цирюльник. Поначалу он обслуживал нас, как эlegantных клиентов, по всем правилам своего ремесла: взбивал мыльную пену, использовал настоящую бритву марки «Золинген». Но в конце концов какой-то заключенный набросился на цирюльника, отобрал бритвенное лезвие и вскрыл себе вены. Кровь, шипя, вырвалась наружу, пятная белоснежный халат мастера. С тех пор нам скоблят щетинистые подбородки машинкой для стрижки волос, а руки привязывают к подлокотникам кресла.

Стригут раз в месяц, не наголо, но коротко, по-военному. Ведь мы еще не разоблаченные злодеи, каторжники без имени и звания, а всего-навсего подследственные. А раз в месяц двое солдат едко пахнущим порошком из какого-то устройства обдают наши постельные принадлежности и нас самих, заставляя спустить штаны и поднять рубахи. Один солдат держит воздуходувку, а другой проводит по нам концом шланга. Нижняя часть тела, вся в белой пудре, напоми-

нает гипсовую статую.

Через нерегулярные промежутки времени нас навещает врач, майор с седыми висками, искусство которого заключается в том, чтобы отделить симулянтов от действительно больных. Болезнь при этом роли не играет.

Вечер принадлежит нам. Сумерки в камере слегка рассеивает свет лампочки вверху, за проволочной сеткой. Поужинав, мы начинаем тосковать по уютному прибежищу ночи. До отбоя еще раз звучит команда: «*La program!*»

В десять отбой. Укрывая глаза носовым платком, мы создаем искусственную тьму. Вот сейчас бы не помешали очки-заслонки. Сон... Даже он теперь принадлежит им.

Когда майор Блау спустя несколько дней вызывает меня на допрос, он ни словом не упоминает об Аннемари Шёнмунд, Энцо Путере и студенческом кружке. И уж тем более совершенно не пытается вовлечь меня в интеллектуальную беседу. Глядя в окно, он начинает задавать вопросы.

– Вы убеждали однокурсницу-саксонку Фриду Бенгель не выходить за ее друга, поскольку он румын по национальности. С другой стороны, вы притворяетесь, будто выступаете за взаимопонимание между народами и социализм. Как вы объясните это противоречие?

Выступать против смешанных браков между представителями разных народов считается националистической агитацией, это уголовное преступление.

– Разве отсюда не следует, что вы пытались проникнуть в

ряды партии с бесчестными намерениями?

Все это он произносит не суровым тоном, а скорее, скучающим, словно ему надоело со мной возиться. Он в форме и не снимает синюю фуражку и замшевые перчатки, и потому кажется, будто он всего лишь на минуту заглянул в эту комнату. Я обеспокоен и почти оскорблен:

– Все просто. Согласно Ленину, национальности сохраняют свое право на существование, пока жива титульная нация. Если Румынская Народная Республика хочет, чтобы мы остались в ее составе как трансильванские саксонцы, значит, мы должны выжить. До войны в Румынии жили в общей сложности восемьсот тысяч немцев и, кстати, столько же евреев. Сейчас нас осталось меньше половины, и наше число сокращается. Речь идет об одной лишь статистике: смешанные браки лишают нас идентичности.

Майор хлопает в ладоши, но не так, как обычно. На зов является лейтенант, становится по стойке «смирно». Майор молча подталкивает к нему по столу записку. Спустя полчаса получает ответ.

– Вам нас не одурачить. Вот, пожалуйста, последние статистические данные: смешанных браков совсем мало. Из представителей вашей национальности только тридцать тысяч состоят в смешанных браках с румынами, а это ничтожно мало, *quantité négligeable*<sup>55</sup>. – И продолжает: – Даже если вы и не позволили расистским предрассудкам преступ-

---

<sup>55</sup> Ничтожное количество (франц.).

но ослепить себя, вы все же выступили на стороне реакционной пропаганды, практикуемой вашими соотечественниками. Будучи бдительным марксистом, вы должны были бы опираться на живую реальность. А вы что делаете?

Mon cher он меня больше не называет.

– Но я ведь именно так и поступал. Пастор Вортман, которого я недавно об этом спрашивал, приводил похожие данные. Смешанные браки не угрожают существованию нашего народа.

– А вы как ни в чем не бывало крутили старую шарманку.

– Нет-нет. Я пытался переубедить родителей другой однокурсницы, ведь я был уверен, что она и ее жених достаточно сильно любят друг друга и их любовь переживет столь сомнительное предприятие, как брак. Родители меня выгнали, а дочь заперлась в кладовке и рыдала.

– Вы что для саксонцев Господь Бог? – спрашивает майор, поворачивается ко мне и разглядывает меня со всех сторон.

– Нет, – отвечаю я.

Он хочет узнать фамилию людей, не пожелавших выдать дочь за румына.

– Не скажу. Вы ее установите и без меня.

Майор погружается в созерцание государственного герба на стене, а потом говорит:

– Только не подумайте, что мои земляки так уж радуются, когда в наши семьи входят иностранцы, прежде всего немцы. Куда там!

Он встает, поправляет офицерскую фуражку, одергивает китель, снимает перчатки, чтобы высморкаться. Не удостоивая меня взглядом, он направляется к двери. Поравнявшись со мной, он подходит ближе, бросает замшевые перчатки на мой столик и молча исчезает.

Мы ждем завтрака. Из коридора доносится обычный утренний шум. Егерь сидит у себя на койке и нюхает яблочную кожуру своих дочек. Я скорчился под привинченным к стене столиком, в своем убежище, и пытаюсь не думать о том, что изо всех сил хотел бы забыть. Но мысли все-таки плывут ко мне, словно беспомощно барахтающиеся в ручье паучки.

Среда. Вечер. Только что закончилось одно из многолюдных заседаний литературного кружка. Элиза Кронер делала доклад о «Докторе Фаустусе». Слова попросили немногие. Каверзных вопросов никто не задавал. Я вздыхаю с облегчением.

Элиза увела меня за руку, еще до того, как основная масса слушателей повалила в коридор через две двери.

– Будь добр, проводи меня. Делай все, о чем я тебя прошу. И ничему не удивляйся. – Она украдкой оглянулась. – Меня уже несколько дней преследует какой-то человек. Он один из этих, я сразу поняла, ведь на нем страшно дорогие ботинки. Я хочу выяснить, точно ли он пойдет за мной куда угодно. А если да, то элегантным способом отучу его от

этих фокусов. – Любена, который припорхнул к ней словно чертик, выпущенный из бутылки, она отослала прочь: – Иди, утешь Паулу Матэи. Я тут в хорошей компании, с надежным спутником.

Мы кинулись бежать по полутемному коридору, подальше от главной лестницы. И правда, за нами полетела какая-то тень.

– Да, – поспешно сказала Элиза, когда мы завернули за угол, – это он. Я сейчас пойду в дамский туалет и буду там сидеть, пока у него не лопнет мочевого пузыря. Наверняка ведь он выпил кружку пива, а то две. У нас в зале он просидел три часа, укрывшись за третьей колонной справа. Понадобится же и ему когда-нибудь в уборную. Тогда позови меня, или лучше, войди тихо, там все равно, кроме меня, никого не будет, и мы убежим. Но для начала исчезни! А то у тебя мочевого пузыря лопнет быстрее, чем у него!

Элиза Кронер продумала все до мелочей. Когда я вышел, оказалось, что соглядатай стоит, спрятавшись за газетой, под лампой, освещающей входы в оба туалета, над которыми красовались сокращения «То» («*tovaräsch*») и «Та» («*tovaräscha*»). Какой же тренированный мочевого пузыря у этого идиота! Он прошел проверку на прочность, не давал течь, держал воду. Но потом, казалось, спустя целую вечность, шпик в дорогих ботинках все-таки начал пританцовывать на месте. Внезапно он сунул мне в руки газету и, отворачиваясь, чтобы я не успел рассмотреть его лицо, по-

просил: «Подержи, пока я не вернусь!» Это был старый номер студенческой газеты «*Viața studentescă*». Сжав ягодицы, он просеменил ко входу, слава богу, к тому над которым виднелось «То». Я продел его газету в ручку на двери мужского туалета и бросился в женский, быстро осмотрелся: у дам все было почти так же, как у нас, не хватало только писсуаров, – и мы с Элизой кинулись бежать, вниз по лестнице, в вестибюль, а потом на улицу.

Возле входа, под старинным чугунным уличным фонарем, таясь за номером газеты «*Viața studentescă*», нас уже поджидал тот самый человек без лица.

Пораженные, мы остановились. Куда же теперь?

– Сегодня ты ночуешь у меня, – решил я.

– Хорошо, – согласилась Элиза. – Но, где бы мы ни спрятались, от этих мерзавцев все равно не спасемся.

«Это точно», – подумал я.

– Недавно Любен вечером вырвал у шпики из рук газету и каблуком зимнего сапога как следует наступил ему на носок. Шпик сразу же отвернулся, но перед этим впервые подал голос: «*Dumnezeule*<sup>56</sup>, мои дорогие ботинки!» Но не ретировался.

– Любен – балканский принц, он может многое себе позволить. Но я обещаю тебе одно: сейчас я нагоню на это чудовище страху. И ты сможешь спать спокойно.

Мы пошли кружным путем, через центральное кладбище,

---

<sup>56</sup> Боже мой! (рум.).

разросшееся прямо посреди города на горном склоне. Снег хрустел под ногами. Пройдя всего несколько могил, согляда-тай, который от нас не отставал, спрятал газету. Он вытащил карманный фонарик и в отчаянии стал нас искать, а мы за-мерли, не произнося ни звука. Внезапно световой конус стал удаляться и, покачиваясь, поплыл по направлению ко входу.

– Они боятся духов мертвых, – заключила Элиза.

Я выбрал дорогу через православную часть кладбища, где каждую могилу освещал благочестивый свет лампы. Элизу я повел за руку, и она не стала противиться.

– Стыдно признаться, а ведь я раньше считала это суеверием... Какой удивительный путь, нам его указывает целая гирлянда лампад, светло-зеленых, алых. Это похоже на бегство в Египет, когда ангелы со звездами в кудрях освещали путь Святому Семейству.

Домик графини Апори примостился сбоку на склоне холма. Полуподвальный этаж, наполовину ушедший под землю, оседал вместе с ним. Через бревенчатый погреб мы вошли в душную прихожую, где я обитал летом, и оттуда попали в комнату моей хозяйки. В стене зияли трещины. Хотя я регулярно затыкал их тряпками, немилосердно дуло. «Ступай осторожно, тут полным-полно дыр и щелей». Чтобы сэкономить дрова, я на зиму перетащил сюда свою постель и отгородил один угол кашмирским ковром. «Как чудно, – прошептала Элиза, – здесь тоже лампадка, только рубиновая»... Фитиль плавал где-то в глубине светильника из опалинового

стекла.

Графиня Клотильда Апори возлежала на своем ложе, укрытая ветхими пледом, а ноги ее укутывала шуба покойного мужа. Весь день постелью ей служило деревянное корыто, на дне которого покоился вместо матраца отлитый в гипсе отпечаток ее искривленной спины.

– Опаздываешь, мой дорогой Хлородонт, – упрекнула меня графиня. – Надо подлить масла в лампадку и раздуть огонь в печи. – И, обращаясь к Элизе, продолжила: – Не удивляйтесь, барышня. Так я его прозвала, а то имя у него просто невозможное, и не выговоришь. Садитесь куда-нибудь. Все едино, везде холодно. В параличе есть свои преимущества, почти ничего не чувствуешь. Я только вижу, как пар валит изо рта.

Я принес дров, развел огонь. Клотильда Апори только что прослушала новости по «Голосу Америки» и сообщила, что кардинал Миндсенти целый день стучал в стену своей комнаты в американском посольстве. Несколько месяцев тому назад один из венгерских повстанцев вызволил этого носителя высокого духовного звания из восьмилетнего заключения и посадил на скамейку во дворе посольства.

На маленьком радиоприемнике массового производства «Пионер» значились только названия радиостанций из стран Восточного блока. Западные радиостанции можно было узнать по пронзительному вою глушилок. Однако дама слышала все, что хотела услышать.

– Мы, аристократы, за столетия обрели очень тонкий слух. Нам постоянно приходилось быть начеку, опасаться не только простого народа, но и вообще всех. Это означало навострить уши, не упускать ни словечка, прислушиваться, о чем шушукаются служанки и конюхи, о чем перешептываются горничные, какие коварные планы вынашивают крепостные крестьяне, в чем деликатно, иносказательно хочет упрекнуть нас священник во время проповеди и где нас надул управляющий. – Она рывком села, так что хрустнули суставы. Я просунул ей подушку под поясницу, а Элиза опустилась на низенькую скамеечку рядом с ее постелью. – Спасибо, но я еще не закончила: догадаться, что скрывается за словами соседа по имению, что замышляет брат-недоброжелатель, о чем сплетничают у тебя за спиной золовки и какие интриги плетет вся твоя огромная родня. Вы же знаете, что все аристократы состоят либо в родстве, либо в свойстве друг с другом. Быть аристократом означает оставаться вдвойне одиноким: как личность и как представитель меньшинства, которому постоянно угрожает опасность. – Она попросила йогурта и хрустящих ржанных хлебцев. – После этого экскурса *pro domo*<sup>57</sup> мне надо немного подкрепиться. – Элиза вставила в скрюченные пальцы графини стаканчик с йогуртом и раскрошила тоненький, ломкий хлебец. – И все-таки запомните навсегда: защиту и опору можно искать только у своего собственного сословия.

---

<sup>57</sup> Здесь: в историю своего происхождения (лат.).

Кислое молоко она высасывала из стаканчика трубочкой и больше никакой помощи не принимала.

– Спасибо, я все стараюсь делать сама, насколько это возможно. Кстати, дорогой Хлородонт, приготовь-ка небольшой ужин. Вы же наверняка оба голодные. Могу предложить вам джем, йогурт, маргарин, три дольки чеснока и тимьян для остроты, да, и полезные ржаные хлебцы.

И продолжала:

– *A la longue*<sup>58</sup> мы даже научились читать мысли. Например, сейчас я читаю твои, дорогой Хлородонт: ты хочешь оставить у себя на ночь эту прекрасную барышню. благородная мысль. Видимо, именно поэтому ты стрелой унесся за дровами. Ты никогда раньше не проявлял такой прыти. В нашем дворце Сент-Мартон гостей, которые оставались ночевать, мы устраивали так: любовников вместе, супругов порознь, чтобы всем было приятно.

Элиза взяла у нее поднос.

– Поставь его в прихожую, – сказал я, – так и мышам будет чем поживиться.

– Да, мой Хлородонт, а теперь еще пару капелек атропина, чтобы я лучше вас видела. – Дама устремила на Элизу взгляд своих старческих глаз с неподвижными, невероятно расширенными зрачками. – Что ж, теперь можем по-настоящему познакомиться.

Элиза сделала книксен.

---

<sup>58</sup> Со временем (франц.).

– Конечно, тебя зовут Клара. У тебя такие ясные глаза, как вы говорите по-немецки, «*klare Augen*», глаза одновременно добрые и мудрые. Стройность, соразмерность и благородство всего облика, вот только чуточку бы прибавить в росте. Впрочем, до двадцати пяти еще растут.

Неожиданно Элиза стала на колени и поцеловала подагрические пальцы графини.

В печи потрескивали поленья. Оконные стекла запотели. В комнате потеплело. Я принес постельное белье.

– Элиза, ты будешь спать здесь. В моей постели. Тебе придется удовольствоваться тюфяком, впрочем, набитым не соломой, а кукурузными листьями. А я устроюсь в передней на диванчике. Умыться можешь за ширмой. Вот там, у печки.

– Это японская ширма, – уточнила графиня. – Ширму с пеликанами мы привезли из Японии. Мы с мужем жили там в сороковые годы. Пожалуйста, Хлородонт, дай барышне мою ночную рубашку. А потом, будь добр, разотри мне живот французской водкой. У меня мигрень, даже затылок ломит. Дорогая Клара, вас же не испугает вид голого старушечьего живота?

– Нет, – заверила «Клара».

Даже меня он больше не пугал.

Из дорожного чемодана, одновременно служившего и табуретом, я извлек отделанную кружевами шелковую ночную рубашку, которая явно знавала лучшие дни, и Элиза натянула ее на себя. От рубашки сильно пахло нафталином и едва

заметно духами «Мажи Нуар». В этом наряде она выглядела так забавно, что я невольно ее обнял. Ее макушка доставала мне до подбородка. Я чувствовал, как бьется ее сердце. Она прошептала: «Как красиво горит лампада под стеклянным колпаком, бордовым цветом! Не подливай масла, оставь как есть!»

Ароматическим спиртом я натер своей квартирной хозяйке живот, на вид очень и очень странный. От бесконечных сеансов массажа пупок соскользнул выше, к самой груди. Там он висел, одинокий и грустный.

И внезапно память услужливо показала мне другую сцену: тогда, в голом лесу, на ложе из прошлогодней листвы, пупок Аннемари исчез под складкой кожи, и остался один огромный живот, и она лежала, как страшное сказочное существо. А еще, когда в нос мне ударил терпкий запах французской водки, я вспомнил, как мы с Аннемари жевали хлеб с салом. Мой кусок хлеба был густо намазан горчицей: «Увеличивает мужскую силу!», – ее – сплошь обсыпан ярко-красной паприкой: «Пробуждает темперамент дамы сердца!» Обе мудрые мысли принадлежали одному из ее деревенских дядюшек. И словно услышал, как Аннемари с губами и подбородком в красной пудре прошамкала полным ртом: «Я хочу получить от тебя письменное обязательство, что ты на мне женишься». Ну, вот она и вышла замуж, получив все письменные обязательства.

Посреди ночи Элиза разбудила меня, тихонько сказав:

– В тюфяке что-то шуршит.

Светящийся стеклянный шар отбрасывал красные отблески, озарявшие почти всю комнату, кроме самых темных углов. Графиня уютно похрапывала.

– Это просто мыши.

– Что? – выдохнула Элиза, впрочем, не вскрикнув, как требовали бы правила хорошего тона. Я отогнул восточный ковер и присел к ней на кровать. Крошечное трепещущее пламя лампадки отбрасывало на потолок причудливые тени. Прошло девяносто девять дней с тех пор, как я навсегда распрощался с Аннемари. Недавно Гунтер по секрету сообщил мне, что она не сдала государственный экзамен и куда-то уехала.

– У мышей такая мягкая шкурка, – объявил я и попытался было устроиться рядом с Элизой.

– Подожди, – нежно остановила она меня, – еще рано.

И осталась лежать, свернувшись калачиком.

– Я знаю, как их прогнать.

Она начала насвистывать мышиную польку. И действительно, мыши повыскакивали из тюфяка, шлепнулись на дощатый пол и закружились в хороводе. Тогда она затянула швабскую песенку: «За стенами городскими нищий свадебку играет, всех зверей хвостатых он на пир скликает. Блошки скачут, ежик топчет, мышки в пляс пустились. Вьем венки, пьем вино, пляшем и гуляем. У кого хвостик есть, хвостиком виляем!»

И правда, мышцы как сквозь землю провалились. И в комнате, и в тюфяке все стихло.

– Знаешь, почему графиня не проснулась? – спросила Элиза. – Потому что она нас не боится. А теперь я поведаю тебе историю, которую не рассказывала никому, даже своей любимой сестре. Как-то раз я возвращаюсь домой и чувствую – кто-то меня тихонько обнимает. Удивленно оборачиваюсь – передо мной молодой человек, ослепительно улыбается, зубы просто загляденье. Значит, это румын из какой-нибудь горной деревни. У них всегда зубы прекрасные. А еще у него были красивые карие глаза. «*Domnișoară*<sup>59</sup>, можно проводить вас домой?» – спрашивает он. И тут же добавляет: «Нет, так я быстро потеряю вас из виду. Вдруг вы живете совсем близко или бесследно исчезнете за углом? Приглашаю вас в кондитерскую “Красный серп”, тут рядом, странное название, вы не находите? Прошу вас, пойдемте, вы там закажете все, что захотите. Я больше не в силах смотреть на вас только издали. Такую прелестную саксонку я не встречал никогда в жизни».

Элиза пошевелилась на своем импровизированном ложе, тюфяк зашуршал, она приподнялась на локтях.

– А я ведь считаю себя уродиной. Вот пощупай! – Она взяла мою руку и поднесла к своему лицу. – Чувствуешь, какие выпирающие скулы? А глаза, слишком широко расставленные, а рот до ушей!

---

<sup>59</sup> Барышня (рум.).

– Рот бывает до ушей, только когда ты смеешься, – принялся утешать ее я.

– Молодой человек преданно смотрит на меня. «Почему бы и нет», – думаю я. Мы ведь с румынами знакомы только шапочно. Их ведь ужасно много, они какие-то другие, чужие, мы их язык с трудом выучили, в муках. Но вернемся к нашему Дечебалу Траяну Попеску. Мы встречаемся все чаще. Передо мной открывается новый мир. Он родом из большого пастушьего села Решинар. Там все мужчины в меховых шапках и с волосами до плеч действительно похожи на даков с колонны императора Траяна в Риме. Решинар расположен по соседству с Хельтау, родиной Кронеров. Он знает нашу фабрику, хвалит многовековое счастливое сотрудничество румынских овцеводов и саксонских ткачей, намекает, что чуть-чуть знаком с нашей семьей, сожалеет, что после войны с нами, саксонцами, так несправедливо обошлись. Всегда вежлив, всегда мил, явно радуется нашим встречам. Румыны в своей любезности трогательны, как маленькие мальчики, женщина приводит их в восторг, как ребенка – рождественский подарок, а потом, они так красиво ухаживают, даже на улице целуют руку. Короче говоря, он очарователен, любопытен, стремится к знаниям. Иногда мы с ним говорим по-английски. Он сотрудник агрономического института, а институт этот, как ты знаешь, находится далеко за городом, под Моностором. И живет со своей старенькой мамой в одном из этих новых многоэтажных домов.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.